



«На золотом
крыльце сидели...»



Татьяна Толстая

Татьяна Толстая
На золотом крыльце сидели... (сборник)
Серия «Классика в вузе»

текст предоставлен издательством "Эксмо"
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3028125
Татьяна Толстая. "На золотом крыльце сидели...": Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-55330-3

Аннотация

В серии «Классика в вузе» публикуются произведения, вошедшие в учебные программы по литературе университетов, академий и институтов.

Большинство из этих произведений сложно найти не только в книжных магазинах и библиотеках, но и в электронном формате.

В сборник Татьяны Толстой, лауреата премии «Студенческий Букер десятилетия» 2011 года, включены известные рассказы.

Содержание

Милая Шура	4
Факир	9
Лимпопо	20
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Татьяна Толстая

«На золотом крыльце сидели...»

Милая Шура

В первый раз Александра Эрнестовна прошла мимо меня ранним утром, вся залитая розовым московским солнцем. Чулки спущены, ноги – подворотней, черный костюмчик засален и протерт. Зато шляпа!.. Четыре времени года – бульденежи, ландыши, черешня, барбарис – свились на светлом соломенном блюде, пришипленном к остаткам волос вот такущей булавкой! Черешни немного оторвались и деревянно постукивают. Ей девяносто лет, подумала я. Но на шесть лет ошиблась. Солнечный воздух сбегает по лучу с крыши прохладного старинного дома и снова бежит вверх, вверх, туда, куда редко смотрим – где повис чугунный балкон на нежилой высоте, где крутая крыша, какая-то нежная решеточка, воздвигнутая прямо в утреннем небе, тающая башенка, шпиль, голуби, ангелы, – нет, я плохо вижу. Блаженно улыбаясь, с затуманенными от счастья глазами движется Александра Эрнестовна по солнечной стороне, широким циркулем переставляя свои дореволюционные ноги. Сливки, булочка и морковь в сетке оттягивают руку, трутся о черный, тяжелый подол. Ветер пешком пришел с юга, веет морем и розами, обещает дорогу по легким лестницам в райские голубые страны. Александра Эрнестовна улыбается утру, улыбается мне. Черное одеяние, светлая шляпа, побрякивающая мертвыми фруктами, скрываются за углом.

Потом она попала мне на раскаленном бульваре – размякшая, умиляющаяся потному, одинокому, застрявшему в пропеченном городе ребенку – своих-то детей у нее никогда не было. Страшное бельишко свисает из-под черной замурзанной юбки. Чужой ребенок доверчиво вывалил песочные сокровища на колени Александре Эрнестовне. Не пачкай тете одежду. Ничего... Пусть.

Я встречала ее и в спертом воздухе кинотеатра (снимите шляпу, бабуля! ничего же не видно!). Невпопад экранным страстям Александра Эрнестовна шумно дышала, трещала мятым шоколадным серебром, склеивая вязкой сладкой глиной хрупкие аптечные челюсти.

Наконец она закрутилась в потоке огнедышащих машин у Никитских ворот, заметалась, теряя направление, вцепилась в мою руку и выплыла на спасительный берег, на всю жизнь потеряв уважение дипломатического негра, залегшего за зеленым стеклом низкого блестящего автомобиля, и его хорошеньких кудрявых детишек. Негр взревел, пахнул синим дымком и умчался в сторону консерватории, а Александра Эрнестовна, дрожащая, перепуганная, выпученная, повисла на мне и потащила меня в свое коммунальное убежище – безделушки, овальные рамки, сухие цветы, – оставляя за собой шлейф валидола.

Две крошечные комнатки, лепной высокий потолок; на отставших обоях улыбается, задумывается, капризничает упоительная красавица – милая Шура, Александра Эрнестовна. Да, да, это я! И в шляпе, и без шляпы, и с распущенными волосами. Ах, какая... А это ее второй муж, ну а это третий – не очень удачный выбор. Ну что уж теперь говорить... Вот, может быть, если бы она тогда решилась убежать к Ивану Николаевичу... Кто такой Иван Николаевич? Его здесь нет, он стиснут в альбоме, распялен в четырех картонных прорезях, прихлопнут дамой в турнюре, задавлен какими-то недолговечными белыми собачками, подошмами еще до японской войны.

Садитесь, садитесь, чем вас угостить?.. Приходите, конечно, ради бога, приходите! Александра Эрнестовна одна на свете, а так хочется поболтать!

...Осень. Дожди. Александра Эрнестовна, вы меня узнаете? Это же я! Помните... ну, неважно, я к вам в гости. Гости – ах, какое счастье! Сюда, сюда, сейчас я уберу... Так и живу

одна. Всех пережила. Три мужа, знаете? И Иван Николаевич, он звал, но... Может быть, надо было решиться? Какая долгая жизнь. Вот это – я. Это – тоже я. А это – мой второй муж. У меня было три мужа, знаете? Правда, третий не очень...

А первый был адвокат. Знаменитый. Очень хорошо жили. Весной – в Финляндию. Летом – в Крым. Белые кексы, черный кофе. Шляпы с кружевами. Устрицы – очень дорого... Вечером в театр. Сколько поклонников! Он погиб в девятнадцатом году – зарезали в подворотне.

О, конечно, у нее всю жизнь были рома-а-аны, как же иначе? Женское сердце – оно такое! Да вот три года назад – у Александры Эрнестовны скрипач снимал закуток. Двадцать шесть лет, лауреат, глаза!.. Конечно, чувства он таил в душе, но взгляд – он же все выдает! Вечером Александра Эрнестовна, бывало, спросит его: «Чаю?..», а он вот так только посмотрит и ни-че-го не говорит! Ну, вы понимаете?.. Ков-ва-арный! Так и молчал, пока жил у Александры Эрнестовны. Но видно было, что весь горит и в душе прямо-таки клокочет. По вечерам вдвоем в двух тесных комнатках... Знаете, что-то такое в воздухе было – обоим ясно... Он не выдерживал и уходил. На улицу. Бродил где-то допоздна. Александра Эрнестовна стойко держалась и надежд ему не подавала. Потом уж он – с горя – женился на какой-то – так, ничего особенного. Переехал. И раз после женитьбы встретил на улице Александру Эрнестовну и кинул такой взгляд – испепелил! Но опять ничего не сказал. Все похоронил в душе.

Да, сердце Александры Эрнестовны никогда не пустовало. Три мужа, между прочим. Со вторым до войны жили в огромной квартире. Известный врач. Знаменитые гости. Цветы. Всегда веселье. И умер весело: когда уже ясно было, что конец, Александра Эрнестовна решила позвать цыган. Все-таки, знаете, когда смотришь на красивое, шумное, веселое, – и умирать легче, правда? Настоящих цыган раздобыть не удалось. Но Александра Эрнестовна – выдумщица – не растерялась, наняла ребят каких-то чумазных, девиц, вырядила их в шумящее, блестящее, развевающееся, распахнула двери в спальню умирающего – и забренчали, завопили, загундосили, пошли кругами, и колесом, и вприсядку: розовое, золотое, золотое, розовое! Муж не ожидал, он уже обратил взгляд *туда*, а тут вдруг врываются, шаялами крутят, визжат; он приподнялся, руками замахал, захрипел: уйдите! – а они веселей, веселей, да с притопом! Так и умер, царствие ему небесное. А третий муж был не очень...

Но Иван Николаевич... Ах, Иван Николаевич! Всего-то и было: Крым, тринадцатый год, полосатое солнце сквозь жалюзи распиливает на брусочки белый высокобленный пол... Шестьдесят лет прошло, а вот ведь... Иван Николаевич просто обезумел: сейчас же бросай мужа и приезжай к нему в Крым. Навсегда. Пообещала. Потом, в Москве, призадумалась: а на что жить? И где? А он забросал письмами: «Милая Шура, приезжай, приезжай!» У мужа тут свои дела, дома сидит редко, а там, в Крыму, на ласковом песочке, под голубыми небесами, Иван Николаевич бегаёт как тигр: «Милая Шура, навсегда!» А у самого, бедного, денег на билет в Москву не хватает! Письма, письма, каждый день письма, целый год – Александра Эрнестовна покажет.

Ах, как любил! Ехать или не ехать?

На четыре времени года раскладывается человеческая жизнь. Весна!!! Лето. Осень... Зима? Но и зима позади для Александры Эрнестовны – где же она теперь? Куда обращены ее мокнущие бесцветные глаза? Запрокинув голову, оттянув красное веко, Александра Эрнестовна закапывает в глаз желтые капли. Розовым воздушным шариком просвечивает голова через тонкую паутину. Этот ли мышинный хвостик шестьдесят лет назад черным павлиньим хвостом окутывал плечи? В этих ли глазах утонул – раз и навсегда – настойчивый, но небогатый Иван Николаевич? Александра Эрнестовна кряхтит и нашаривает узловатыми ступнями тапки.

– Сейчас будем пить чай. Без чая никуда не отпущу. Ни-ни-ни. Даже и не думайте.

Да я никуда и не уйду. Я затем и пришла – пить чай. И принесла пирожных. Я сейчас поставлю чайник, не беспокойтесь. А она пока достанет бархатный альбом и старые письма.

В кухню надо идти далеко, в другой город, по бесконечному блестящему полу, натертому так, что два дня на подошвах остаются следы красной мастики. В конце коридорного туннеля, как огонек в дремучем разбойном лесу, светится пятнышко кухонного окна. Двадцать три соседа молчат за белыми чистыми дверьми. На полпути – телефон на стене. Белеет записка, приколотая некогда Александрой Эрнестовной: «Пожар – 01. Скорая – 03. В случае моей смерти звонить Елизавете Осиповне». Елизаветы Осиповны самой давно нет на свете. Ничего. Александра Эрнестовна забыла.

В кухне – болезненная, безжизненная чистота. На одной из плит сами с собой разговаривают чьи-то щи. В углу еще стоит кудрявый конус запаха после покурившего «Беломор» соседа. Курица в авоське висит за окном, как наказанная, мотается на черном ветру. Голое мокрое дерево поникло от горя. Пьяница расстегивает пальто, опершись лицом о забор. Грустные обстоятельства места, времени и образа действия. А если бы Александра Эрнестовна согласилась тогда все бросить и бежать на юг к Ивану Николаевичу? Где была бы она теперь? Она уже послала телеграмму (еду, встречай), уложила вещи, спрятала билет подальше, в потайное отделение портмоне, высоко заколола павлиньи волосы и села в кресло, к окну – ждать. И далеко на юге Иван Николаевич, всполошившись, не веря счастью, кинулся на железнодорожную станцию – бегать, беспокоиться, волноваться, распорядиться, нанять, договариваться, сходить с ума, вглядываться в обложенный тусклой жарой горизонт. А потом? Она прождала в кресле до вечера, до первых чистых звезд. А потом? Она вытащила из волос шпильки, тряхнула головой... А потом? Ну что – потом, потом! Жизнь прошла, вот что потом.

Чайник вскипел. Заварю покрепче. Несложная пьеска на чайном ксилофоне: крышечка, крышечка, ложечка, крышечка, тряпочка, крышечка, тряпочка, тряпочка, ложечка, ручка, ручка. Длинный путь назад по темному коридору с двумя чайниками в руках. Двадцать три соседа за белыми дверьми прислушиваются: не капнет ли своим поганым чаем на наш чистый пол? Не капнула, не волнуйтесь. Ногой отворяю готические дверные створки. Я вечность отсутствовала, но Александра Эрнестовна меня еще помнит.

Достала малиновые надтреснутые чашки, украсила стол какими-то кружавчиками, копается в темном гробу буфета, колыша хлебный, сухарный запах, выползающий из-за его деревянных щек. Не лезь, запах! Поймать его и прищемить стеклянными гранеными дверцами; вот так; сиди под замком.

Александра Эрнестовна достает *чуждое* варенье, ей подарили, вы только попробуйте, нет, нет, вы попробуйте, ах, ах, ах, нет слов, да, это что-то необыкновенное, правда же, удивительное? правда, правда, сколько на свете живу, никогда такого... ну, как я рада, я знала, что вам понравится, возьмите еще, берите, берите, я вас умоляю! (О, черт, опять у меня будут болеть зубы!)

Вы мне нравитесь, Александра Эрнестовна, вы мне очень нравитесь, особенно вон на той фотографии, где у вас такой овал лица, и на этой, где вы откинули голову и смеетесь изумительными зубами, и на этой, где вы притворяетесь капризной, а руку забросили куда-то на затылок, чтобы резные фестончики нарочно сползли с локтя. Мне нравится ваша никому больше не интересная, где-то там отшумевшая жизнь, бегом убежавшая молодость, ваши истлевшие поклонники, мужья, проследовавшие торжественной вереницей, все, все, кто окликнул вас и кого позвали вы, каждый, кто прошел и скрылся за высокой горой. Я буду приходить к вам и приносить и сливки, и очень полезную для глаз морковку, а вы, пожалуйста, раскрывайте давно не проветривавшиеся бархатные коричневые альбомы – пусть подышат хорошенькие гимназистки, пусть разомнутся усатые господа, пусть улыбнется бравый Иван Николаевич. Ничего, ничего, он вас не видит, ну что вы, Александра Эрнестовна!..

Надо было решиться тогда. Надо было. Да она уже решилась. Вот он – рядом, – руку протяни! Вот, возьми его в руки, держи, вот он, плоский, холодный, глянцевый, с золотым обрезом, чуть пожелтевший Иван Николаевич! Эй, вы слышите, она решилась, да, она едет, встречайте, всё, она больше не колеблется, встречайте, где вы, ау!

Тысячи лет, тысячи дней, тысячи прозрачных непроницаемых занавесей пали с небес, сгустились, сомкнулись плотными стенами, завалили дороги, не пускают Александру Эрнестовну к ее затерянному в веках возлюбленному. Он остался там, по ту сторону лет, один, на пыльной южной станции, он бродит по заплеванному семечками перрону, он смотрит на часы, отбрасывает носком сапога пыльные веретена кукурузных обглодышей, нетерпеливо обрывает сизые кипарисные шишечки, ждет, ждет, ждет паровоза из горячей утренней дали. Она не приехала. Она не приедет. Она обманула. Да нет, нет, она же хотела! Она готова, и саквояжи уложены! Белые полупрозрачные платья поджали колени в тесной темноте сундука, несессер скрипит кожей, посверкивает серебром, бесстыдные купальные костюмы, чуть прикрывающие колени – а руки-то голые до плеч! – ждут своего часа, зажмурились, предвкушая... В шляпной коробке – невозможная, упоительная, невесомая... ах, нет слов – белый зефир, чудо из чудес! На самом дне, запрокинувшись на спину, подняв лапки, спит шкатулка – шпильки, гребенки, шелковые шнурки, алмазный песочек, наклеенный на картонные шпатели – для нежных ногтей; мелкие пустячки. Жасминовый джинн запечатан в хрустальном флаконе – ах, как он сверкнет миллиардом радуг на морском ослепительном свете! Она готова – что ей помешало? Что нам всегда мешает? Ну, скорее же, время идет!.. Время идет, и невидимые толщи лет все плотнее, и ржавеют рельсы, и зарастают дороги, и бурьян по оврагам все пышней. Время течет, и колышет на спине лодку милой Шуры, и плещет морщинами в ее неповторимое лицо.

...Еще чаю?

А после войны вернулись – с третьим мужем – вот сюда, в эти комнатки. Третий муж все ныл, ныл... Коридор длинный. Свет тусклый. Окна во двор. Все позади. Умерли нарядные гости. Засохли цветы. Дождь барабанит в стекла. Ныл, ныл – и умер, а когда, отчего – Александра Эрнестовна не заметила.

Доставала Ивана Николаевича из альбома, долго смотрела. Как он ее звал! Она уже и билет купила – вот он, билет. На плотной картонке – черные цифры. Хочешь – так смотри, хочешь – переверни вверх ногами, все равно: забытые знаки неведомого алфавита, зашифрованный пропуск туда, на тот берег.

Может быть, если узнать волшебное слово... если догадаться... если сесть и хорошенько подумать... или где-то поискать... должна же быть дверь, щелочка, незамеченный кривой проход туда, в тот день; все закрыли, ну а хоть щелочку-то – зазевались и оставили; может быть, в каком-нибудь старом доме, что ли; на чердаке, если отогнуть доски... или в глухом переулке, в кирпичной стене – пролом, небрежно заложенный кирпичами, торопливо замазанный, крест-накрест забитый на скорую руку... Может быть, не здесь, а в другом городе... Может быть, где-то в путанице рельсов, в стороне, стоит вагон, старый, заржавевший, с провалившимся полом, вагон, в который так и не села милая Шура?

«Вот мое купе... Разрешите, я пройду. Позвольте, вот же мой билет – здесь все написано!» Вон там, в том конце – ржавые зубья рессор, рыжие, покореженные ребра стен, голубизна неба в потолке, трава под ногами – это ее законное место, ее! Никто его так и не занял, просто не имел права!

...Еще чаю? Метель.

...Еще чаю? Яблони в цвету. Одуванчики. Сирень. Фу, как жарко. Вон из Москвы – к морю. До встречи, Александра Эрнестовна! Я расскажу вам, что там – на том конце земли. Не высохло ли море, не уплыл ли сухим листиком Крым, не выцвело ли голубое небо? Не ушел

ли со своего добровольного поста на железнодорожной станции ваш измученный, взволнованный возлюбленный?

В каменном московском аду ждет меня Александра Эрнестовна. Нет, нет, все так, все правильно! Там, в Крыму, невидимый, но беспокойный, в белом кителе, взад-вперед по пыльному перрону ходит Иван Николаевич, выкапывает часы из кармашка, вытирает бритую шею; взад-вперед вдоль ажурного, пачкающего белой пылью карликового заборчика, волнующийся, недоумевающий; сквозь него проходят, не замечая, красивые мордатые девушки в брюках, хипповые паренки с закатанными рукавами, оплетенные наглым транзисторным ба-ба-ду-баканьем; бабки в белых платочках, с ведрами слив; южные дамы с пластмассовыми аканфами клипсов; старички в негнущихся синтетических шляпах; насквозь, напролом, через Ивана Николаевича, но он ничего не знает, ничего не замечает, он ждет, время сбилось с пути, завязло на полдороге, где-то под Курском, споткнулось над соловьиными речками, заблудилось, слепое, на подсолнуховых равнинах.

Иван Николаевич, погодите! Я ей скажу, я передам, не уходите, она приедет, приедет, честное слово, она уже решила, она согласна, вы там стойте пока, ничего, она сейчас, все же собрано, уложено – только взять; и билет есть, я знаю, клянусь, я видела – в бархатном альбоме, засунут там за фотокарточку; он пообтрепался, правда, но это ничего, я думаю, ее пустят. Там, конечно... не пройти, что-то такое мешает, я не помню; ну уж она как-нибудь; она что-нибудь придумает – билет есть, правда? – это ведь важно: билет; и, знаете, главное, она решила, это точно, точно, я вам говорю!

Александр Эрнестовне – пять звонков, третья кнопка сверху. На площадке – ветерок: приоткрыты створки пыльного лестничного витража, украшенного легкомысленными лотосами – цветами забвения.

– Кого?.. Померла.

То есть как это... минуточку... почему? Но я же только что... Да я только туда и назад! Вы что?..

Белый горячий воздух бросается на выходящих из sklepa подъезда, норовя попасть по глазам. Погоди ты... Мусор, наверно, еще не увозили? За углом, на асфальтовом пяточке, в мусорных баках кончаются спирали земного существования. А вы думали – где? За облаками, что ли? Вон они, эти спирали – торчат пружинами из гнилого разверстого дивана. Сюда все и свалили. Овальная картина милой Шуры – стекло разбили, глаза выколоты. Старушечье барахло – чулки какие-то... Шляпа с четырьмя временами года. Вам не нужны облупленные черешни? Нет?.. Почему? Кувшин с отбитым носом. А бархатный альбом, конечно, украли. Им хорошо сапоги чистить. Дураки вы все, я не плачу – с чего бы? Мусор распарился на солнце, растекся черной банановой слизью. Пачка писем втоптана в жижу. «Милая Шура, ну когда же...», «Милая Шура, только скажи...» А одно письмо, подсохшее, желтой разлинованной бабочкой вертится под пыльным тополем, не зная, где присесть.

Что мне со всем этим делать? Повернуться и уйти. Жарко. Ветер гонит пыль. И Александра Эрнестовна, милая Шура, реальная, как мираж, увенчанная деревянными фруктами и картонными цветами, плывет, улыбаясь, по дрожащему переулку за угол, на юг, на невысказанно далекий сияющий юг, на затерянный перрон, плывет, тает и растворяется в горячем полдне.

Факир

Филин – как всегда, неожиданно – возник в телефонной трубке и пригласил в гости: посмотреть на его новую пассию. Программа вечера была ясна: белая хрустящая скатерть, свет, тепло, особые слоеные пирожки по-гмутаракански, приятнейшая музыка откуда-то с потолка, захватывающие разговоры. Всюду синие шторы, витрины с коллекциями, по стенам развешаны бусы. Новые игрушки – табакерка ли с портретом дамы, упивающейся своей розовой голой напудренностью, бисерный кошелек, пасхальное, может быть, яйцо или же так что-нибудь – ненужное, но ценное.

Сам Филин тоже не оскорбит взгляда – чистый, небольшой, в домашнем бархатном пиджаке, маленькая рука отяжелена перстнем. Да не штампованным, жлобским, «за рупь пятьдесят с коробочкой», – зачем? – нет, прямо из раскопок, венецианским, если не врет, а то и монетой в оправе – какой-нибудь, прости господи, Антиох, а то поднимай выше... Таков Филин. Сядет в кресло, покачивая туфлей, пальцы сложит домиком, брови дегтярные, прекрасные анатолийские глаза – как сажа, борода сухая, серебряная, с шорохом, только у рта черно – словно уголь ел.

Есть, есть на что посмотреть.

Дамы у Филина тоже не какие-нибудь – коллекционные, редкие. То циркачка, допустим, – вьется на шесте, блистая чешуей, под гром барабанов, или просто девочка, мамина дочка, мажет акварельки, – ума на пятачок, зато сама белизны необыкновенной, так что Филин, зовя на смотрины, даже предупреждает: непременно, мол, приходите в черных очках во избежание снежной слепоты.

Кое-кто Филина втихомолку не одобрял, со всеми этими его перстнями, пирожками, табакерками; хихикали насчет его малинового халата с кистями и каких-то будто бы серебряных янычарских тапок с загнутыми носами; и смешно было, что у него в ванной – специальная щетка для бороды и крем для рук – у холостяка-то... А все-таки позовет – и бежали, и втайне всегда холодели: пригласит ли еще? даст ли посидеть в тепле и свете, в неге и холе, да и вообще – что он в нас, обыкновенных, нашел, зачем мы ему нужны?..

– ...Если вы сегодня ничем не заняты, прошу ко мне к восьми часам. Познакомьтесь с Алисой – преле-естное существо.

– Спасибо, спасибо, обязательно!

Ну как всегда, в последний момент! Юра потянулся к бритве, а Галя, змеей влезая в колготки, инструктировала дочь: каша в кастрюле, дверь никому не открывать, уроки – и спать! И не висни на мне, не висни, мы и так опаздываем! Галя напихала в сумку полиэтиленовых пакетов: Филин живет в высотном доме, под ним гастроном, может быть, селедочное масло будут давать или еще что перепадет.

За домом обручем мрака лежала окружная дорога, где посвистывал мороз, холод безлюдных равнин проник под одежду, мир на миг показался кладбищенски страшным, и они не захотели ждать автобуса, тесниться в метро, а поймали такси, и, развалясь с комфортом, осторожно побранили Филина за бархатный пиджак, за страсть к коллекционированию, за незнакомую Алису: а где прежняя-то, Ниночка? – ищи-свищи; погадали, будет ли в гостях Матвей Матвейч, и дружно Матвей Матвейча осудили.

Познакомились они с ним у Филина и так были стариком очарованы: эти его рассказы о царствовании Анны Иоанновны, и опять же пирожки, и дымок английского чая, и синие с золотом коллекционные чашки, и журчащий откуда-то сверху Моцарт, и Филин, ласкающий гостей своими мифистофельскими глазами – фу-ты, голова одурела, – напросились к Матвей Матвейчу в гости. Разбежались! Принял на кухне, пол дощатый, стены коричневые, голые, да и вообще район кошмарный, заборы и ямы, сам в тренировочных штанах, совер-

шенно уже белесых, чай спитой, варенье засахаренное, да и то прямо в банке на стол брякнул, ложку сунул: выковыривайте, мол, гости дорогие. А курить – только на лестничной площадке: астма, не обессудьте. И с Анной Иоанновной прокол вышел: расположились – бог с ним, с чаем – послушать журчащую речь про дворцовые шуры-муры, всякие там переводоты, а старик все развязывал жуткие папки с тесемками, все что-то тыкал пальцем, крича о каких-то земельных наделах, и что вот Кузин, бездарь, чинуша, интриган, печататься не дает и весь сектор против Матвей Матвеича настраивает, но ведь вот же, вот же: ценнейшие документы, всю жизнь собирал! Галя с Юрой хотели опять про злодеев, про пытки, про ледяной дом и свадьбу карликов, но не было рядом Филина и некому было направить разговор на интересное, а весь вечер только Ку-у-узин! Ку-у-узин! – и тыканье в папки, и валерьянка. Уложив старика, рано ушли, и Галя порвала колготки о старикову табуретку.

– А бард Власов? – вспомнил Юра.

– Молчи уж!

С тем все вышло вроде бы наоборот, но позор страшный: тоже подцепили у Филина, пригласили к себе, назвали приятелей – слушать, отстояли два часа за тортом «Полено». Заперли дочь в детской, собаку на кухне. Пришел бард Власов, хмурый, с гитарой, торт и пробовать не стал: крем смягчит голос, а ему нужно, чтоб было хрипло. Пропел пару песен: «Тетя Мотя, ваши плечи, ваши перси и ланиты, как у Нади Команечи, физкультурой развиты...» Юра позорился, вылезал со своим невежеством, громко шептал посреди пения: «Я забыл, перси – это какие места?» Галя волновалась, просила, чтобы непременно спеть «Друзья», прижимала руки к груди: это такая песня, такая песня! Он пел ее у Филина – мягко, грустно, заунывно, – вот, мол, «за столом, клеенкой покрытым, за бутылкой пива собравшись», сидят старые друзья, лысые, неудачники. И у каждого что-то не так, у каждого своя грусть: «одному любовь не под силу, а другому князь не по нраву», – и никто-то никому помочь не может, увы! – но ведь вот же они вместе, они друзья, они нужны друг другу, и разве это не самое важное на свете? Слушаешь – и кажется, что – да-да-да, у тебя тоже что-то такое примерно в жизни, да, вот именно! «Во – песня! Коронный номер!» – шептал и Юра. Бард Власов еще больше нахмурился, сделал далекий взгляд – туда, в ту воображаемую комнату, где любящие друг друга плешивцы откупоривали далекое пиво; перебрал струны, начал печально: «за столом, клеенкой покрытым...» Запертая в кухне Джулька заскребла когтями по полу, завывала. «За бутылкой пива собравшись», – поднажал бард Власов. «Ы-ы-ы», – волновалась собака. Кто-то хрюкнул, бард оскорбленно зажал струны, взял папиросу. Юра пошел делать Джульке внушение. «Это у вас автобиографическое?» – почтительно спросил какой-то дурак. «Что? У меня все где-то автобиографическое». Юра вернулся, бард бросил окурок, сосредоточиваясь. «За столом, клеенкой покрыты-ыты-ым...» Мучительный вой пошел из кухни. «Музыкальная собачка», – со злобой сказал бард. Галя поволокла упирающуюся овчарку к соседям, бард поспешно допел – вой глухо проникал сквозь кооперативные стенки, – скомкал программу и в прихожей, дергая «молнию» куртки, с отвращением сообщил, что вообще-то он берет по два рубля с носа, но раз они не умеют организовать творческую атмосферу, то сойдет и по рублю. И Галя опять побежала к соседям, – кошмар, одолжите червонец, – и те, тоже перед получкой, долго собирали мелочью и вытрясли даже детскую копилку под рев обобранных детей и лай рвущейся Джульки.

Да, вот Филин с людьми умеет, а мы – как-то нет. Ну, может быть, в другой раз получится.

Время до восьми еще было – как раз чтобы постоять за паштетом в гастрономе у Филинова подножия, ведь вот, тоже, – на нашей-то окраине коровы среди бела дня шляются, а паштета что-то не видать. Без трех восемь вступить в лифт – Галя, как всегда, оглядится и скажет: «В таком лифте жить хочется», потом воцаренный паркет безбрежной площадки, медная табличка: «И. И. Филин», звонок – и наконец он сам на пороге – просияет черными гла-

зами, наклонит голову: «Точность – вежливость королей...» И как-то ужасно приятно это услышать, эти слова, – словно он, Филин, султан, а они и впрямь короли, – Галя в недорогом пальто и Юра в куртке и вязаной шапочке.

И вплывут они, королевская чета, избранная на один вечер, в тепло и свет, в сладкие фортепьянные рулады, и прошествуют к столу, где разморенные розы знать не знают ни о каком морозе, ветре, тьме, что обступили неприступную Филинову башню, бессильные пробраться внутрь.

Что-то неуволимо новое в квартире... а, понятно: витрина с бисерными безделушками сдвинута, бра переехало на другую стену, арка, ведущая в заднюю комнату, зашторена, и, отогнув эту штору, выходит и подает руку Алиса, прелестное якобы существо.

– Аллочка.

– Да, вообще-то она Аллочка, но мы с вами будем звать ее Алисой, не правда ли? Прошу к столу, – сказал Филин. – Ну-с! Рекомендую паштет. Редкостный! Таких паштетов, знаете ли...

– Внизу брали, вижу, – обрадовался Юра. – И спускаемся мы-ы. С пак-каренных вершин-н. Ведь когда-то и боги спуска-ались на землю. Верно?

Филин тонко улыбнулся, повел бровями – дескать, может, да, внизу брал, а может, и нет. Все-то вам надо знать. Галя мысленно пнула мужа за бестактность.

– Оцените тарталетки, – начал новый заход Филин. – Боюсь, что вы последние, кто их пробует на этой многогрешной земле.

Сегодня он почему-то называл пирожки тарталетками – должно быть, из-за Алисы.

– А что случилось – муку снимают с продажи? В мировом масштабе? – веселился Юра, потирая руки, костистый нос его покраснел в тепле. Забулькал чай.

– Ничуть не бывало. Что мука! – махнул бородкой Филин. – Галочка, сахару... Что мука! Утерян секрет, друзья мои. Умирает – мне сейчас позвонили – последний владелец старинного рецепта. Девяносто восемь лет, инсульт. Вы пробуйте. Алиса, можно, я налью вам в мою любимую чашку?

Филин затуманил взгляд, как бы намекая на возможность особой близости, могущей возникнуть от такого интимного контакта с его возлюбленной посудой. Прелестная Алиса улыбнулась. Да что в ней такого прелестного? Черные волосы блестят как смазанные, нос крючком, усики. Платье простое, вязаное, цвета соленого огурца. Подумаешь. Здесь и не такие сиживали – где они теперь?

– ...И вы подумайте, – говорил Филин, – еще два дня назад заказал я этому Игнатию Кириллычу тарталетки. Еще вчера он их пек. Еще сегодня утром я их получил – каждую в папиросной бумажке. И вот – инсульт. Из Склифосовского дали мне знать. – Филин куснул слоеную бомбошку, поднял красивые брови и вздохнул. – Когда Игнатий еще мальчиком служил у «Яра», старый кондитер Кузьма, умирая, передал ему секрет этих изделий. Вы пробуйте. – Филин вытер бородку. – А этот Кузьма в свое время служил в Петербурге у Вольфа и Беранже – знаменитые кондитеры. Говорят, перед роковой дуэлью Пушкин зашел к Вольфу и спросил тарталеток. А Кузьма в тот день валялся пьян и не испек. Ну, выходит управляющий, разводит руками. Нету, Александр Сергеич. Такой народ-с. Не угодно ли бушэ? Трубочку, может, со сливками? Пушкин расстроился, махнул шляпой и вышел. Ну-с, дальнейшее известно. Кузьма проспался – Пушкин в гробу.

– О боже мой... – испугалась Галя.

– Да-да. И вы знаете, это так на всех подействовало. Вольф застрелился, Беранже принял православие, управляющий пожертвовал тридцать тысяч на богоугодные заведения, а Кузьма – тот просто рехнулся. Все, говорят, повторял: «Э-эх, Лексан Серге-и-ич... Тарталеточек моих не поели... Пообождали бы чуток...» – Филин бросил еще пирожок в рот и захрустел. – Дожил, однако, этот Кузьма до начала века. Дряхлыми руками передал рецепт

ученикам. Игнатию тесто, другому кому-то начинку. Ну, после – революция, гражданская война. Тот, что начинку знал, в эсеры подался. Игнатий Кириллыч мой потерял его из виду. Проходит несколько лет – а Игнатий всё при ресторане, – вдруг что-то его дернуло, выходит он из кухни в зал, а там этот, с дамой. Монокль, усы отрастил – не узнать. Игнатий прямо как был, в муке, – к столику. «Пройдемте, товарищ». Тот заметался, а делать нечего. Идет, бледный, в кухню. «Говори, сволочь, мясную начинку». Куда денешься, прошлое-то подмочено. Сказал. «Говори капустную». Весь дрожит, но выдает. «Теперь саго». А саго у него было абсолю-у-утно засекречено. Молчит. Игнатий: «Саго!» И скалку берет. Тот молчит. Потом вдруг: а-а-а-а! – и побежал. Этот, эсер-то. Бросились, связали, смотрят – а он в уме тронулся, глазами водит и пена изо рта. Так саго и не дознались. Да... А этот Игнатий Кириллыч интересный был старик, прихотливый. Как-к он слойку чувствовал, боже, как чувствовал!.. Пек на дому. Задергивал шторы, на два засова дверь закладывал. Я ему: «Игна-атий Кириллыч, голу-убчик, поделитесь секретом, что вам?..» – ни в какую. Все достойного преемника ждал. Теперь вот инсульт... Да вы попробуйте.

– Ой, как жалко... – огорчилась прелестная Алиса. – Как же их теперь есть? Мне всегда так жалко всего последнего... Вот у моей мамы до войны брошь была...

– Последний, случайный! – вздохнул Филин и взял еще пирожок.

– Последняя туча рассеянной бури, – поддержала Галя.

– Последний из могикан, – вспомнил Юра.

– Нет, вот у моей мамы жемчужная брошь была до войны...

– Все преходяще, милая Алиса, – жевал довольный Филин. – Все стареет – собаки, женщины, жемчуг. Вздохнем о мимолетности бытия и возблагодарим создателя за то, что дал нам вкусить того-сего на пиру жизни. Кушайте и вытрите слезки.

– Может быть, он еще придет в себя, Игнат этот?

– Не может, – заверил хозяин. – Забудьте об этом.

Жевали. Пела музыка над головами. Хорошо было.

– Чем новеньким побалуете? – поинтересовался Юра.

– А... Кстати напомнили. Веджвуд – чашки, блюдца. Молочник. Видите – синие на полочке. Да вот я сейчас... Вот...

– Ах... – Галя осторожно потрогала пальцем чашку – белые беззаботные танцы по синему туманному полю.

– А вам, Алиса, нравится?

– Хорошие... Вот у моей мамы до войны...

– А знаете, у кого я купил? Угадайте... У партизана.

– В каком смысле?

– Вот послушайте. Любопытная история. – Филин сложил пальцы домиком, с любовью глядя на полочку, где осторожно, боясь упасть, сидел пленный сервиз. – Бродил я осенью с ружьем по деревням. Захожу в избу. Мужик выносит мне парного молока. В чашке. Смотрю – настоящий Веджвуд! Что такое! Ну, разговорились, дядя Саша его зовут, где-то тут адрес у меня... ну, неважно. Что выяснилось. Во время войны партизанил он в лесу. Раннее утро. Летит немецкий самолет. Жу-жу-жу, – изобразил Филин. – Дядя Саша голову поднял, а летчик плюнул – и прямо в него попал. Случайно, конечно. В дяде Саше, естественно, характер ка-ак разыграл, он бабах из пистолета – и немца наповал. Тоже случайно. Самолет свалился, осмотрели – пожалуйста, пять ящичков какао, шестой – вот, посуда. Видно, к завтраку вез. Я купил у него. Молочник с трещинкой, ну ничего. Раз такие обстоятельства.

– Врет ваш партизан! – восхитился Юра, озираясь и стуча кулаком по колену. – Ну как же врет! Фантастика!

– Ничего подобного. – Филин был недоволен. – Конечно, я не исключаю, что никакой он не партизан, а просто вульгарный воришка, но, знаете... как-то я предпочитаю верить.

Он насупился и забрал чашку.

– Конечно, людям надо верить. – Галя под столом потоптала Юрину ногу. – Со мной тоже удивительный случай был. Юра, помнишь? Купила кошелек, принесла домой, а в нем – три рубля. Никто не верит!

– Почему же, я верю. Бывает, – рассудила Алиса. – Вот у моей мамы...

Поговорили об удивительном, о предчувствиях и вещих снах. У Алисы была подруга, наперед предсказавшая всю свою жизнь – брак, двоих детей, развод, раздел квартиры и вещей. Юра обстоятельно, в деталях, рассказал, как у одного знакомого угнали машину и как милиция остроумно вычислила и поймала вора, но вот в чем была соль – он как-то сейчас точно не припомнит. Филин поведал о знакомой собаке, которая открывала дверь своим ключом и разогревала обед в ожидании хозяев.

– Нет, ну каким же образом? – ахали женщины.

– Как каким? У них плита французская, электрическая, с приводом. Кнопку нажмешь – все включается. Собака смотрит на часы: пора, идет на кухню, орудует там, ну, заодно и себе подогреет. Хозяева придут с работы, а щи уже кипят, хлеб нарезан, вилки-ложки приготовлены. Удобно.

Филин говорил, улыбался, покачивал ногой, поглядывал на довольную Алису, музыка смолкла, и город словно проступил за окнами. Темный чай курился в чашках, вился сладкий сигаретный дымок, пахло розами, а за окном тихо визжало под колесами Садовое кольцо, валил веселый народ, город сиял вязанками золотых фонарей, радужными морозными кольцами, разноцветным скрипучим снегом, а столичное небо сеяло новый прелестный снежок, свежий, только что изготовленный. И, подумать только, все это пиршество, все эти вечерние чудеса раскинуты ради вот этой, ничем не особенной Алочки, пышно переименованной в Алису, – вон она сидит в своем овощном платье, раскрыла усатый рот и с восторгом глядит на всесильного господина, мановением руки, движением бровей преображающего мир до неузнаваемости.

Скоро Галя с Юрой уйдут, уползут на свою окраину, а она останется, ей можно... Галю взяла тоска. За что, ах, за что?

Посреди столицы угнездился дворец Филина, розовая гора, украшенная семо и овамо разнообразнейше, – со всякими зодческими эдакостями, штуkenциями и финтибрясами: на цоколях – башни, на башнях – зубцы, промеж зубцов ленты да венки, а из лавровых гирлянд лезет книга – источник знаний, или высовывает педагогическую ножку циркуль, а то, глядишь, посередке вспучился обелиск, а на нем плотно стоит, обнявши сноп, плотная гипсовая жена, с пресветлым взглядом, отрицающим метели и ночь, с непорочными косами, с невинным подбородком... Так и чудится, что сейчас протрубят какие-то трубы, где-то ударят в тарелки, и барабаны сыграют что-нибудь государственное, героическое.

И вечернее небо над Филиным, над его кудрявым дворцом играет светом – кирпичным, сиреневым, – настоящее московское, театрально-концертное небо. А у них, на окружной... боже мой, какая там сейчас густая, маслянисто-морозная тьма, как пусто в стылых провалах между домами, да и самих домов не видно, слились с ночным, отягощенным снежными тучами небом, только окна там и сям горят неровным узором; золотые, зеленые, красные квадратики сияются растолкать полярный мрак... Поздний час, магазины закрылись на засовы, последняя старушка выкатилась, прихватив с собой пачку маргарина и яйца-бой, никто не гуляет по улицам просто так, ничего не рассматривает, не глазееет по сторонам, каждый порскнул в свою дверь, задернул занавески и тянет руку к кнопке телевизора. Глянешь из окна – окружная дорога, бездна тьмы, прочерчиваемая сдвоенными алыми огоньками, желтые жуки чьих-то фар... Вон проехало что-то большое, кивнуло огнями на колдобине... Вон приближается светлая палочка – огни во лбу автобуса, дрожащее ядрышко желтого света, живые икринки людей внутри... А за окружной, за последней слабой полосой

жизни, по ту сторону заснеженной канавы невидимое небо сползло и упирается тяжелым краем в свекольные поля, – тут же, сразу за канавой. Ведь невозможно, немислимо думать о том, что эта глухая тьма тянется и дальше, над полями, сливающимися в белый гул, над кое-как сплетенными изгородами, над придавленными к холодной земле деревьями, где обреченно дрожит тоскливый огонек, словно зажатый в равнодушном кулаке... а дальше вновь – темно-белый холод, горбушка леса, где тьма еще плотней, где, может быть, вынужден жить несчастный волк, – он выходит на бугор в своем жестком шерстяном пальтишке, пахнет можжевеловым и кровью, дикостью, бедой, хмуро, с отвращением смотрит в слепые ветреные дали, снежные катыши набились между желтых потрескавшихся ногтей, и зубы стиснуты в печали, и мерзлая слеза вонючей бусиной висит на шерстяной щеке, и всякий-то ему враг, и всякий-то убийца...

Напоследок ели ананасы. А потом надо было выметаться. А до дома-то – ого-го сколько... Проспекты, проспекты, проспекты, темные метельные площади, пустыри, мосты и леса, и снова пустыри, и внезапные, голубые изнутри, неспящие заводы, и снова леса и летящий перед фарами снег. А дома – унылые зеленые обои, граненый стаканчик абажура в прихожей, тусклая теснота и знакомый запах, и приклепленная к стене цветная обложка женского журнала – для украшения. Румяные, противные супруги на лыжах. Она скалится, он греет ей руки. «Озябла?» – называется. «Озябла?» Сорвать бы проклятую, да Юра не дает – любит все спортивное, оптимистическое... Вот пусть и ловит такси!

Ночь вступила в глухие часы, закрылись все ворота, празднующиеся грузовики проносились мимо, звездная крыша окаменела от стужи, и грубый воздух сваялся в комья. «Шеф, до окружной?..» – метался Юра. Галя скулила и поджимала ноги, попрыгивая на обочине, а за ее спиной, во дворце, догорало последнее окно, розы погружались в дремоту, Алиса лепетала про мамину брошь, а Филин, в халате с кистями, щекотал ее серебряной бородой: у-у, дорогая! Еще ананасов?

Этой зимой они были званы еще раз, и Аллочка уже болталась по квартире как своя, смело хватала дорогую посуду, пахла ландышем, позевывала.

Филин демонстрировал гостям Валтасарова – дремучего бородатого мужика, замечательного своей способностью к чревовещанию. Валтасаров изображал стук в дверь, доение коровы, грохот телеги, далекий вой волков и как баба бьет тараканов. Звуки индустриальные ему не давались. Юра очень просил поднатужиться, изобразить хотя бы трамвай, но тот не соглашался ни в какую: «Грыжи боюсь». Гале было не по себе: в Валтасарове померещилась ей та степень одичания, до которой им с Юрой рукой подать – через окружную, за канаву, на ту сторону.

Устала она, что ли, за последнее время... Еще полгода назад она кинулась бы зазывать Валтасарова к себе, назвала бы приятелей, подала бы колотого сахару, ржаных лепешек, редьки, допустим, – чем там привык питаться чудо-крестьянин? – и мужик брякал бы коровьим боталом или гремел колодезной цепью под общий изумленный гвалт. Теперь же как-то вдруг ясно стало: ничего не выйдет. Позвать его – что ж, гости посмеются и разойдутся, а Валтасаров останется, попросится, пожалуй, ночевать – освобождай комнату, а она проходная; спать он завалится часов с девяти, запахнет овцами, махоркой, сеновалом; ночью ощупью направится пить воду на кухню, свернет в темноте стул... Тихий мат, Джулька залает, дочь проснется... А может, он лунатик, войдет к ним в спальню в темноте, – в белой рубахе, в валенках... Шарить будет... А утром, когда вообще никого видеть не хочется, когда спешишь на работу, и голова всклокочена, и холодно, – старик будет сидеть на кухне, долго чаевничать, потом потащит из зипуна безграмотные бумажки: «Дочка, вот тут лекарство мне записали... От всего лечит... Как бы это достать...»

Нет, нет, нечего и думать с ним связываться!

Это только Филин, неутомимый, способен подбирать, кормить, развлекать кого попало, – ну и нас, и нас, конечно! О, Филин! Щедрый владделец золотых плодов, он раздает их направо и налево, насыщает голодных и поит жаждущих, он махнет рукой – и расцветают сады, женщины хорошеют, зануды вдохновляются, а вороны поют соловьями.

Вот какой он! Вот он какой!

А какие у него замечательные знакомые... Игнатий Кириллыч, тестознавец. Или эта балерина, к которой он ходит, – Дольцева-Еланская...

– Это, конечно, сценический псевдоним, – качает ногой Филин, любуясь потолком. – В девичестве – Собакина, Ольга Иеронимовна. По первому мужу – Кошкина, по второму – Мышкина. Так сказать, игра на понижение. Гремела, гремела в свое время. Великие князья в очереди стояли, топазы мешками волокли. Слабость у нее была – дымчатые топазы. Но очень простая, душевная, прогрессивная женщина. После революции надумала отдать камушки народу. Сказано – сделано: снимает бусы, рвет нитку, сыпает на стол. Тут звонок в дверь: пришли уплотнять. Ну пока то да се, возвращается – попугай склевал все подчистую. Птичкам, знаете, нужны камни для пищеварения. Нажрался миллионов на пять – и в форточку. Она за ним: «Кокоша, куда?! А народ?!» Он к югу. Она за ним. Добралась до Одессы, как – не спрашивайте. А тут пароход отчаливает, трубы дымят, крики, чемоданы, – публика бежит в Константинополь. Попугай – на трубу и сидит. Тепло ему там. Так эта Олечка Собакина, что вы думаете, зацепила своей тренированной ногой за трап и пароход остановила! И пока ей попугая не изловили, не отпустила. Вытрясла из него все до копейки и пожертвовала на Красный Крест. Правда, ножку ей пришлось ампутировать, но она не унывала, с костылями танцевала в госпиталях. Сейчас-то ей куча лет, лежит плашмя, пополнела. Хожу вот к ней, Стерна ей читаю. Да, Олечка Собакина, из купцов... Сколько же силы в нашем народе! Сколько силушки нерастраченной...

Галя смотрела на Филина с обожанием. Как-то вдруг сразу он перед ней раскрылся – красивый, бескорыстный, гостеприимный... Ах, везет этой Алке усатой! А она не ценит, глядит равнодушным, блестящим взглядом лемура на гостей, на Филина, на цветы и печенье, словно все это в порядке вещей, словно это так и надо! Словно далеко, на краю света, не томятся Галина дочь, собака, «Озябла», – заложники во мраке, на пороге осинового, дрожащего от злобы леса!

На десерт ели грейпфруты, начиненные креветками, а волшебный мужик пил чай с блюдечка.

И на сердце лежал камень.

Дома, лежа во тьме, слушая стеклянный звон осин на ветру, гудение бессонной окружной дороги, шорох волчьей шерсти в дальнем лесу, шевеление озябшей свекольной ботвы под снежным покровом, думала: никогда нам отсюда не выбраться. Кто-то безымянный, равнодушный, как судьба, распорядился: этот, этот и этот пусть живут во дворце. Пусть им будет хорошо. А вон те, и те, и еще вот эти, и Галя с Юрой – живите там. Да не там, а во-о-о-он там, да-да, правильно. У канавы, за пустырями. И не лезьте, нечего. Разговор окончен. Да за что же?! Позвольте?! Но судьба уже повернулась спиной, смеется с другими, и крепка ее железная спина – не достучишься. Хочешь – бейся в истерике, катайся по полу, молоти ногами, хочешь – затаись и тихо зверей, накапливая в зубах порции холодного яду.

Пробовали карабкаться, пробовали меняться, клеили объявления, до кружевных дыр резали и потрошили обменные бюллетени, униженно звонили по телефону: «У нас тут лес... чудный воздух... ребенку очень хорошо, и дачи не нужно... сама такая! От психа слышу!...» Заполняли тетради торопливыми пометками: «Зинаида Самойловна подумает...», «Ксана перезвонит...», «Петру Иванычу только с балконом...» Юра чудом нашел какую-то старуху, сидела одна в трехкомнатной квартире в бельэтаже на Патриарших прудах, капризничала. Пятнадцать семей завертелись в обменной цепи, каждая со своими претензиями, инфарк-

тами, сумасшедшими соседками, разбитыми сердцами, утерянными метриками. Капризную старуху возили на такси туда-сюда, доставали ей дорогие лекарства, теплую обувь, ветчину, сулили деньги. Вот-вот-вот уже все должно было свершиться, тридцать восемь человек дрожали и огрызались, рушились свадьбы, лопались летние отпуска, где-то в цепи пал некто Симаков, прободение язвы, – неважно, прочь! – ряды сомкнулись, еще усилие, старуха юлит, сопротивляется, под страшным нажимом подписывает документы, и в тот момент, когда где-то там, в заоблачных сферах, розовый ангел воздушным пером уже заполнял ордера, – трах! она передумала. Вот так – взяла и передумала. И отстаньте все от нее.

Вопль пятнадцати семей потряс землю, отклонилась земная ось, изверглись вулканы, тайфун «Анна» смел молодое слаборазвитое государство, Гималаи стали еще выше, а Марианская впадина – еще глубже, но Галя и Юра остались там, где и были. И волки хохотали в лесу. Ибо сказано: кому велено чирикать, не мурлыкайте. Кому велено мурлыкать, не чирикайте.

«Донос, что ли, написать на старуху», – сказала Галя. «Да, но куда?» – осунувшийся Юра горел нехорошим пламенем, жалко было на него смотреть. Прикинули так и эдак – некуда. Разве апостолу Петру, чтобы не пускал в рай поганку. Юра набрал в карьере камней и поехал ночью на Патриаршие пруды, чтобы выбить окна в бельэтаже, но вернулся с сообщением, что уже выбито – не они одни такие умные.

Потом поостыли, конечно.

Теперь она лежала и думала о Филине: как он складывает пальцы домиком, улыбается, покачивает ногой, как поднимает глаза к потолку, когда говорит... Ей так много нужно было бы ему сказать... Яркий свет, яркие цветы, яркая серебряная борода с черным пятном вокруг рта. Конечно, Алиса ему не пара, и страну чудес ей не оценить. Да и не заслужила. Тут должен быть кто-то понимающий...

– Бла-бла-бла, – зачмокал Юра во сне.

...Да, кто-то понимающий, чуткий... Малиновый халат ему отпаривать... Напускать ванну... Тапки что-нибудь...

Вещи поделить так: Юра пусть берет квартиру, собаку, мебель. Галя заберет дочь, что-нибудь из белья, утюг, стиральную машину. Тостер. Зеркало из коридора. Мамины хорошие вилки. Горшок с фиалкой. Вот и все, пожалуй.

Да нет, глупости. Разве может он понять Галину жизнь, Галино третьесортное бытие, унижения, тычки в душу? Разве расскажешь! Разве расскажешь – ну вот хотя бы как Галя раздобыла – хитростью, подкупом, нужными звонками – билет в Большой театр – в партер!!! – один-единственный билет (правда, Юра искусством не заинтересовался), как мыла, парила и завивала себя, готовясь к большому событию, как вышла из дому на цыпочках, заранее лелея в себе золотую атмосферу возвышенного, – а была осень, грянул дождь, и такси не сыщешь, и Галя заметалась по слякоти, проклиная небеса, судьбу, градостроителей, а добравшись наконец до театра, увидела, что забыла дома туфли, а ноги-то – ой... Голенища в кляксах, на подошвах рыжие лепешки, а из них трава торчит клочьями – пырей вульгарный, сныть окраинная, гнусняк вездесущий. И даже подол в дрянце.

И Галя – ну что она такого сделала? – просто тихонько прокралась в туалет и носовым платочком мыла сапоги и застирывала позорный подол. И тут подвалила какая-то жаба, – не из персонала, а тоже любитель прекрасного, – вся как лиловое желе, затрясла камееми: да как вы смэ-э-ете! в Большом тэа-тре! скоблить свои поганые но-оги! да вы не в ба-ане! – и понесла, и понесла, и люди стали оборачиваться, перешептываться, и, не разобравшись, сурово глядеть.

И уже все было испорчено, погибло и пропало, и Гале уж было не до высокого волнения, и маленькие лебеди попусту наяривали медленной рысью прославленный свой танец, – вскипая злыми слезами, терзаясь неотмщенной обидой, Галя без всяких восторгов давила

танцовщиц взглядом, различая в бинокль их желтоватые трудовые лица, рабочие шейные жилы, и сурово, безжалостно твердила себе, что никакие они не лебеди, а члены профсоюза, что все у них как у простых людей – и вросшие ногти, и неверные мужья, что вот сейчас отпляшут они сколько велено, натянут теплые рейтузы – и по домам, по домам: в ледяное Зюзино, в жидкое Коровино, а то и на самую страшную окружную дорогу, где по ночам молча воет Галя, в ту непролазную жуть, где бы только хищной нелюди рыскать да каркать воронью. И вот пусть-ка такая вот белая беспечная трепетунья, вон хоть та, проделает ежедневный Галин путь, пусть провалится по брюхо в мучительную глину, в вязкий докембрий окраин, да повернется, выкарабкавшись, – вот это будет фуэте!

Да разве расскажешь!

В марте он их не позвал, и в апреле не позвал, и лето прошло впустую, и Галя изнервничалась: что случилось? надоели? недостойны? Устала мечтать, устала ждать телефонного звонка, стала забывать дорогие черты: теперь он представлялся ей гигантом, ифритом, с пугающе черным взглядом, огромными, искрящимися от перстней руками, с металлическим шорохом сухой восточной бороды.

И она не сразу узнала его, когда он прошел мимо нее в метро – маленький, торопливый, озабоченный, – миновал ее, не заметив, и идет себе, и уже не окликнуть!

Он идет как обычный человек, маленькие ноги его, привыкшие к вощеным паркетам, избалованные бархатными тапками, ступают по зашарканному банному кафелю перехода, избегают на объединенные ступени; маленькие кулачки шарят в карманах, нашли носовой платок, пнули – буф, буф! – по носу – и снова в карман; вот он встряхнулся как собака, поправил шарф – и дальше, под арку с чахлой золотой мозаикой, мимо статуи партизанского патриарха, недоуменно растопырившего бронзовую длань с мучительной ошибкой в расположении пальцев.

Он идет сквозь толпу, и толпа, то сгущаясь, то редая, шуршит, толкаясь ему навстречу, – веселая тучная дама, янтарный индус в белоснежных мусульманских кальсонах, воин с чирьями, горные старухи в калошах, оглушенные суетой.

Он идет, не оглядываясь, нет ему дела до Гали, до ее жадных глаз, вытянутой шеи, – вот подпрыгнул, как школьник, скользнул на эскалатор – и прочь, и скрылся, и нет его, только теплый резиновый ветер от набежавшего поезда, шип и стук дверей и говор толпы, как говор вод многих.

И в тот же вечер позвонила Аллочка и с возмущением рассказала, что они с Филиным ходили подавать заявление в загс и там, заполняя документы, она обнаружила, что он – самозванец, что квартиру в высотном доме он снимает у какого-то полярника, и все вещички-то скорее всего не его, а полярниковы, а сам он прописан в городе Домодедово! И что она гордо швырнула ему документы и ушла, не из-за Домодедова, конечно, а потому, что выходить замуж за человека, который вот хоть настолечко соврал, ей не позволяет гордость. И чтобы они тоже знали, с кем имеют дело.

Вот оно как... А они-то с ним знали! Да он ничем не лучше их, он такой же, он просто притворялся, мимикрировал, жалкий карлик, клоун в халате падишаха! Да они с Юрой в тыщу раз честнее! Но он хоть понимает теперь, что виноват, разоблачен, попался?

Даже с площадки было слышно, что у кого-то сварена рыба. Галя позвонила. Филин открыл и изумился. Он был один и выглядел плохо, хуже Джульки. Все ему высказать! Что церемониться? Он был один, и нагло ел треску под музыку Брамса, и на стол перед собой поставил вазу с белыми гвоздиками.

– Галочка, вот сюрприз! Не забыли... Прощу – судак орли, свежий. – Филин подвинул треску.

– Все знаю, – сказала Галя и села, как была, в пальто. – Алиса мне все сказала.

– Да, Алиса, Алиса, коварная женщина! Ну, рыбки?

– Нет, спасибо! И про Домодедово я знаю. И про полярника.

– Да, ужасная история, – огорчился Филин. – Три года просидел человек в Антарктиде, и еще бы сидел – это романтично – и вдруг такая беда. Но Илизаров поможет, я верю. У нас это делают.

– Что делают? – опешила Галя.

– Уши. Вы не знаете? Полярник-то мой уши отморозил. Сибиряк, широкая натура, справляли они там Восьмое марта с норвежцами, одному норвежцу его ушанка понравилась, он возьми да и поменяйся с ним. На кепку. А на улице мороз восемьдесят градусов, а в помещении плюс двадцать. Сто градусов перепад температуры – мыслимо ли? С улицы его зовут: «Леха!» – он голову наружу высунул, уши – раз! – и отвалились. Ну, конечно, паника, вlepили ему строгача, уши – в коробку и сейчас же самолетом в Курган, к Илизарову. Так что вот... Уезжаю.

Галя тщетно искала слова. Что-нибудь побольнее.

– И вообще, – вздохнул Филин. – Осень. Грустно. Все меня бросили. Алиса бросила... Матвей Матвеевич носу не кажет... Может, умер? Одна вы, Галочка... Одна вы могли бы, если б захотели. Ну теперь я к вам поближе буду. Теперь поближе. Покушайте судачка. «Айнмаль ин дер вохе – фиш!» Что значит: раз в неделю – рыба! Кто сказал? Ну, кто из великих сказал?

– Гёте? – пробормотала Галя, невольно смягчаясь.

– Близко. Близко, но не совсем. – Филин оживился, помолодел. – Забываем историю литературы, ай-яй-яй... Напомню: когда Гёте – тут вы правы – глубоким стариком полюбил молодую, преле-естную Ульрику и имел неосторожность посвататься, – ему было грубо отказано. С порога. Вернее – из окна. Прелестница высунулась в форточку и облаяла олимпийца – ну, вы же это знаете, не можете не знать. Старый, мол, а туда же. Фауст выискался. Рыбы больше есть надо – в ней фосфор, чтобы голова варила. Айнмаль ин дер вохе – фиш! И форточку захлопнула.

– Да нет! – сказала Галя. – Ну зачем... Я же читала...

– Все мы что-нибудь читали, дорогая, – расцвел Филин. – А я вам привожу голые факты. – Он уселся поудобнее, возвел глаза к потолку. – Ну, бредет старик домой, совершенно разбитый. Как говорится, прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя!.. Сгорбился, звезда на шее – бряк-бряк, бряк-бряк... А тут вечер, ужин. Подали дичь с горошком. Он дичь сильно уважал, с этим-то, надеюсь, вы спорить не будете? Свечи горят, на столе серебро, конечно, такое немецкое, – знаете, с шишками, – аромат... Так – дети сидят, так – внуки. В уголку секретарь его, Эккерман, примостился, строчит. Гёте крылышко поковырял – бросил. Не идет кусок. Горошек уж тем более. Внуки ему: деда, ты чего? Он так это встал, стулом шурнул и с горечью: раз в неделю, говорит, рыба! Заплакал и вышел. Немцы, они сентиментальные. Эккерман, конечно, тут же все это занес в свой кондуит. Вы почитайте, если не успели: «Разговоры с Гёте». Поучительная книга. Кстати, эту дичь – абсолютно уже окаменевшую, – до тридцать второго года показывали в Веймаре, в музее.

– А горошек куда же дели? – свирепея, спросила Галя.

– Коту скормили.

– С каких это пор кот ест овощи?!

– У немцев попробуй не съешь. У них дисциплинка!

– Что, про кота тоже Эккерман пишет?..

– Да, это есть в примечаниях. Смотря, конечно, какое издание.

Галя встала, вышла прочь, вниз и на улицу. Прощай, розовый дворец, прощай, мечта! Лети на все четыре стороны, Филин! Мы стояли с протянутой рукой – перед кем? Чем ты нас одарил? Твое дерево с золотыми плодами засохло, и речи твои – лишь фейерверк в ночи, минутный бег цветного ветра, истерика огненных роз во тьме над нашими волосами.

Темнело. Осенний ветер играл бумажками, черпал из урн. Она заглянула напоследок в магазин, что подточил, как прозрачный червь, ногу дворца. Постояла у невеселых прилавков – говяжьки кости, пюре «Рассвет». Что ж, сотрем пальцем слезы, размажем по щекам, заплюем лампы: и бог наш мертв, и храм его пуст. Прощай!

А теперь – домой. Путь неблизкий. Впереди – новая зима, новые надежды, новые песни. Что ж, воспоем окраины, дожди, посеревшие дома, долгие вечера на пороге тьмы. Воспоем пустыри, бурые травы, холод земляных пластов под боязливой ногой, воспоем медленную осеннюю зарю, собачий лай среди осиновых стволов, хрупкую золотую паутину и первый лед, первый синеватый лед в глубоком отпечатке чужого следа.

Лимпопо

Могилку Джуди в прошлом году перекопали и на том месте проложили шоссе. Я не поехала смотреть, мне сказали: так, мол, и так, все уже там закончено, машины шуршат и несутся, в машинах дети едят бутерброды и собаки улыбаются, проносясь в обнимку с хозяйками – мелькнули и нету. Что мне там делать?

Они в таких случаях обычно посылают родственникам и близким скорбное письмо: поживее, мол, забирайте ваш дорогой прах, а не то у нас тут ударная стройка, огни пятилетки и всякое такое. Но у Джуди родственников – по крайней мере в нашем полушарии – не было, а из близких был только Ленечка, да где теперь Ленечку найдешь? Хотя, конечно, его ищут всякие энтузиасты, кому не лень, но об этом потом.

А в прошлом году исполнилось пятнадцать лет, как Джуди умерла, и я, ничего не зная про шоссе, как всегда в этот день, зажгла свечу, поставила на стол пустую рюмочку, прикрыв ее хлебом, села напротив и выпила за помин души рябиновой наливки. И горела свеча, и смотрело зеркало со стены, и неслась за окном метель, но ничего не заплясало в пламени, не прошло в темном стекле, не позвало из снежных хлопьев. Может быть, не так надо было поминать бедную Джуди, а, допустим, завернуться в простыню, зажечь курительные палочки и бить в барабан до утра, или, скажем, обрить голову, помазать брови львиным жиром и девять дней сидеть на корточках лицом в угол, – кто их знает, как у них там в Африке принято?

Я даже не помню толком, как ее на самом деле звали: надо было как-то по-особому завуть, зубами клацнуть и зевнуть – вот и произнес; нашими буквами на бумаге не запишешь, а имя, – говорила Джуди, – на самом деле очень нежное, лирическое, означает – по справочнику – «мелкое растение из отряда лилейных со съедобными клубнями»; весной все отправляются на холмы, выкапывают эту штуку острыми палками и пекут в золе, а потом пляшут всю ночь до холодного рассвета, пляшут, пока не взойдет алое огромное солнце, чтобы, в свою очередь, заплясать на их лицах, черных, как нефть, на голубых ядовитых цветах, воткнутых в проволочные волосы, на ожерельях из собачьих зубов.

Так это все у них происходит или не так – теперь трудно сказать, тем более что Ленечка – вдохновенный сам по себе да еще и поощряемый Джудиной улыбкой до ушей – написал на эту тему кучу стихов (где-то они у меня и сейчас валяются); правда и вымысел так перепутались, что теперь, по прошествии стольких лет, и не сообразишь, плясали ли когда-нибудь на холмах, радуясь восходу солнца, черные блестящие люди, протекала ли под холмами голубая река, курясь на рассвете, изгибался ли экватор утренней радугой, повисая, тая в небе, и были ли у Джуди в самом деле шестьдесят четыре двоюродных брата, и верно ли, что ее дедушка с материнской стороны вообразил себя крокодилом и прятался в сухих камышах, чтобы хватать за ноги купающихся детей и уток?

А все возможно! Почему нет? Это у них там экзотика, а у нас никогдашеньки ничегошеньки не происходит.

Пляски плясками, но Джуди, видимо, успела где-то перехватить клочок какого-никакого образования, ибо приехала к нам на стажировку (по ветеринарной части, бог мой!). Размотали платки, платки, платки; шарфы, клетчатые шали, шали из козлиной пряжи в узлах и занозах, шали газовые, оранжевые, с золотыми продержками, шали голубого льна и поло-сатого льна; размотали; посмотрели: чему там стажироваться? – там и стажироваться-то нечему, а не то что со скотиной бороться: рога, хвосты, копыта, рубец и сычуг, помет и вымя, му-у-у и бэ-э-э, страшно подумать, а против корявого этого воинства – всего-то: столбик живой темноты, кусочек мглы, дрожащий от холода, карие собачьи глаза – и все, и больше ничего. Но Ленечка был сразу обворожен и сражен, причем резоны для этой внезапной

нахлынувшей страсти были, как и все Ленечкины резоны, чисто идеологические: умственный завихрянс, или, проще выражаясь, рациональная доминанта всегда была его основной чертой.

Ну, во-первых, он был поэтом и пылинки дальних стран много тянули на его поэтических весах, во-вторых, он, как опять-таки человек творческий, непрестанно протестовал, – неважно, против чего, предмет протеста выявлялся в процессе возмущения, – а Джуди возникла как воплощенный протест, как вызов всему на свете: обрывок мрака, уголь среди метели, мандариновые шали в крепком московском январе под Сретенье! – цитирую Ленечку. По мне – так ничего особенного. В-третьих, она была черна не просто так, а – как кочегар, – восторгался Ленечка, – а кочегар, наряду с дворником, ночным сторожем, лесником, привратником и вообще всяким, кто мерзнет ли в полушубке под жестокими звездами, бродит ли в валенках, поскрипывая снегом, охраняя ощерившуюся сваями ночную стройку, несет ли дремотную вахту на жестком стуле казенного дома, или же в тусклом свете котельной, у труб, обмотанных тряпьем, поглядывает на манометры, – был любимым Ленечкиным героем. Боюсь, что его представление о кочегаре было излишне романтическим или устаревшим, – кочегары, насколько мне известно, вовсе не такие черные, я знала одного, – но поэта простим.

Все эти профессии Ленечка уважал как последние плацдармы, куда отступили истинные интеллигенты, ибо на дворе зависло время, когда – по слову Ленечки – духовная элита, не в силах более взирать, как трещит и чадит в вонючем воздухе эпохи ее слабая, но честная свечка, отступила, повернулась и ушла под улюлюканье черни в подвалы, сторожки, времянки и щели, чтобы там, затаившись, сберечь последнюю свечу, последнюю слезу, последнюю букву рассыпанного своего алфавита. Почти никто не вернулся из щелей: одни спились, другие сошли с ума, кто по документам, кто на самом деле, как Сережа Б., что нанялся стеречь кооперативный чердак и как-то весною узрел в темном небе райские букеты и серебряные кусты с перебегающими огнями, поманившие его одичавшую душу предвестием Второго Пришествия, навстречу коему он и вышел, шагнув из окна четырнадцатого этажа прямо на свежий воздух и омрачив тем самым чистую радость трудящихся, вышедших полюбоваться праздничным салютом.

Многие надумали себе строгую светлую думу о чистом княжеском воздухе, о девушках в зеленых сарафанах, об одуванчиках у деревянных заборов, о светлой водице и верном коне, о лентах узорных, о богатырях дозорных, – пригорюнились, закручинились, прокляли ход времен и отрастили себе золотые важные бороды, нарубили березовых чурок – вырезать ложки, накупили самоваров, ходиков с кукушкой, тканых половиков, крестов и валенок, осудили чай и чернила, ходили медленно, курящим женщинам говорили: «Дама, а воняете», и третьим оком, что отверзается во лбу после долгих постов и умственных простоев, стали всюду прозревать волшебство и чернокнижие.

А были такие, что рвали ворот, освобождая задыхающееся горло, срывали одежды свои, отравленные ядом и гноем, и отрекались паки и паки, вопия: анафема Авгию и делам его, женам его и наследникам его, коням его и колесницам его, злату его и слугам его, идолам его и гробницам его!.. И, отшумев и отерев слюну свою, затягивали ремни и веревки на узлах и торбах, брали детей на руки и стариков – на загривки, – и, не оборачиваясь и не крестясь, растворялись в закате: шаг вперед – по горбату мостику – через летейские воды – деревянный трамплин – потемневший воздух – свист в ушах – рыдания глобуса, тише и тише, и вот: мир иной, чертополох цветущий, весенний терновник, полынный настой, рассыпается каперс и кузнечик тяжелеет, и... – ах и невинны же новые звезды, и золотые же скопища огней внизу, будто прошел, ступая широко и неровно, оставляя следы, кто-то горящий, – и роятся, извиваясь, золотые сегментчатые черви и сияющие щупальца, и вот – кроваво-голубой, облитый ромом и подоженный, обжигая глаза и пальцы, кружится, шипя в черной

воде, торт чужого города, а море дымящимися языками рек вползает в остывающее, потемневшее, уже замедленное и подергивающееся пленкой пространство, – прощай, помедливший, прощай, оставшийся, навек, навек прощай!..

А иные уцелели, сохранились, убереглись от перемен, пролежали без движения за полоской отклеившихся обоев, за отставшим косяком, под прохудившимся войлоком, а теперь вышли, честные и старомодные, попахивающие старинными добродетелями и ценными грехами, вышли, не понимая, не узнавая ни воздух, ни улицы, ни души, – не тот это город, и полночь не та! – вышли, вынося под мышками сбереженные в летаргическом сне драгоценности: сгнившие новинки, прохудившиеся дерзости, заплесневелые открытия, просроченные прозрения, аминь; вышли, щурясь, странные, редкие и бесполезные, подобно тому, как из слежавшейся бумаги, из старой кипы газет выходит белый, музейной редкости таракан, и изумленные игрой природы хозяева не решаются прибить тапкой благородное, словно сибирский песец, животное.

Но это теперь. А тогда – январь, черный мороз, двухсторонняя крупозная любовь, и эти двое, стоящие в прихожей моей бывшей квартиры друг против друга и с изумлением друг на друга взирающие, – а ну их к черту, надо было немедленно растащить их в разные стороны и в корне пресечь грядущие несчастья и безобразия.

Ну ладно, что ж теперь говорить.

Мы забыли ее настоящее имя и звали ее просто Джуди, что же касается страны, откуда она приехала, то я что-то не смогла найти ее в новом атласе, а старый сдала в макулатуру, – в спешке, не подумав, так как мне срочно нужно было выкупить макулатурное издание «Засупонь-реки» П. Расковырова: все же помнят, что этот двухтомник хорошо менялся на Бодлера, а Бодлер нужен был одному массажисту, который знал того маклера, что помог мне наконец с квартирой, хотя и попортил крови предостаточно. Не в том суть. А страны я не нашла. Видимо, после очередных боев, дележки, колдовства и людоедства Джудины соотечественники растащили в разные стороны и холмы, и дымную реку, и свежую утреннюю долину, распилили крокодилов на три части, разогнали народ и спалили соломенные хижины. Бывает. Там была война, вот в чем дело-то, потому Джуди и застряла у нас: денег нет, дома нет и на письма никто не отвечает.

Но поначалу она была просто закутанная, замерзшая и мало что понимавшая девушка, собиравшаяся лечить зверей и доверявшая каждому Ленечкиному слову.

Я-то его хорошо знала, Ленечку, еще со школьных лет, и потому ни доверять, ни уважать не могла, но другим – что ж, другим уважать никогда не мешала. В конце концов, он был славный малый, друг детства, – таких не уважают, а любят, – и мы с ним когда-то торопились сквозь одну и ту же утреннюю железную мглу, мимо тех же сугробов, заборов и качающихся фонарей в ту же красную кирпичную школу, опоясанную снаружи медальонами с алебастровыми профилями обмороженных литературных классиков. И общими были для нас тоска зеленых стен, полы, измазанные красной мастикой, гулкие лестницы, теплая вонь раздевалок и страшноглазый Салтыков-Щедрин на площадке третьего этажа, мучительный и неясный, туманно писавший про какого-то караса, которого требовалось осудить в полугодовой контрольной с лиловыми штампами гороно. Этот Салтыков то «бичевал язвы», то «вскрывал родимые пятна», и за бешеным, остановившимся его взглядом вставляли окровавленный фартук садиста, напряженные клещи палача, осклизлая скамья, на которую лучше бы не смотреть.

Крашенные эти полы, и мутный карась, и язвы, и свист ремня, которым порол Ленечку его отец, – все это прошло, горизонт, как говорится, заволокло дымкой, да и не все ли равно! Теперь Ленечка был вдохновенным лжецом и поэтом, – что одно и то же, – небольшим, кривоногим юношей, с баранно-блондинной головой и круглым, неплотно закрывающимся ртом битого кролика. Друзья, они такие. Они некрасивые.

Он был, конечно, борцом за правду, где бы она ему ни померещилась. Попадался ли в столовой жидкий кофе – Ленечка вбегал в общепитские кулуары и, именуя себя общественным инспектором, требовал отчета и ответа; стелили ли сырое белье в поезде – Ленечка воспламенялся и, тараня вагоны, громя тамбуры, прорывался к начальнику поезда, объявляя себя ревизором Министерства путей сообщения, и грозил разнести в клочья воровскую эту их колымагу, и кабину машиниста, и радиорубку, и особо – вагон-ресторан: потоптать пюре, раздрызгать борщи и полуборщи ударами могучих кулаков и всех, всех, всех похоронить под обрушившейся лавиной вареных яиц.

К тому времени, о котором идет речь, Ленечку уже выгнали из редакции вечерней газеты, где он, под лозунгом правды и искренности, пытался самовольно придать литературный блеск некрологам:

В СТРАШНЫХ МУЧЕНИЯХ СКОНЧАЛСЯ

Тер-Психорянец Ашот Ашотович,

главный инженер сахаро-рафинадного завода, член КПСС с 1953 года.

За весь коллектив не скажем, но большинство работников расфасовочного цеха, двое из бухгалтерии и зампредместкома Л. Л. Кошечкина еще какое-то время будут вспоминать его незлым тихим словом.

Или:

ДАВНО ОЖИДАЕМАЯ СМЕРТЬ

Попова Семена Ивановича,

бывшего директора фабрики мягкой игрушки, наступила в ночь со 2 на 3 февраля, никого особенно не удивив и не огорчив. Пожил, и будет. 90 лет, шутка ли! Может, кто хочет поприсутствовать на похоронах, так они, скорее всего, в среду, 6-го, если подвезут гробы, а то у нас всяко бывает.

Или же:

ХВАТИЛИСЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Полуэктову Клариссу Петровну,

личность без определенных занятий, 1930 года рождения, горькую пьяницу. Найденная соседями на балконе, не подавала признаков жизни, и уж теперь-то, ясно, не подаст. Все там будем, что и говорить. Эхе-хе.

Или, наконец:

Малютка *Петр*, с огнем играя,
Достиг теперь преддверья рая.
Вкушая райский ананас,
Малютка *Петр*, молись за нас!

Ленечка был возмущен узостью и черствостью сотрудников газеты, не принявших его стилистики, он усматривал в их позиции скудоумие, стандарт, бескрылость и гонение на творческую интеллигенцию, – и, по-моему, вполне справедливо; усматривал небрежение русским словом, могучим и ядовитым, а в то же время нежным и гибким, усматривал нежелание расширить рамки жанра, а главное – лживость, лживость и презрение к простому и страшному, ждущему всех нас, акту смерти простого человека.

Он пил чай у меня на коммунальной кухне, вовлекая в спор и крик моего соседа Спиридонова, тоже измучившегося в борьбе с равнодушными: изобретенный Спиридоновым отрывной бумажный пятак стоил ему раннего инфаркта, развода с женой, исключения из

партии и потери иллюзий. Бывший энтузиаст, а ныне потухший, седой человек, Спиридонов выходил со стаканом чая в железнодорожном подстаканнике, подаренном сослуживцами на юбилей, выставлял ванильные сушки, и они, эти двое, бубнили и кричали друг другу: «Гегели долбанутые... он мне говорит: а вы документацию обосновали?.. Фантазия червя... я говорю: сколько ж одного металла псу под хвост кидаем, это ж Алтайские горы... мушинные мозги со склеротическими бляшками... все автобусные парки – так? весь метрополитен – так?..» – и плакали, обнявшись, о чистом, свежем, о незапятнанном, о доверии к мысли, о любви к человеку, о простой улыбке – да мало ли о чем плакали в те годы! Эх, ба, чу, фу-ты ну-ты, увы, ого – как печально писали в свое время составители учебника вздохов родного языка Бархударов и Крючков. «Пушкина проорали! – горячился Спиридонов. – Эх, Пушкина бы сюда!..» – «Будет Пушкин! Сделаем Пушкина!» – обещал Ленечка.

Он изложил Спиридонову свой план. Я вроде бы интеллигент, так? – говорил Ленечка. Интеллигент... плакаты видели, знаете?.. это тот, кто изображается сзади, за рабочим и крестьянкой, в очках, так и просящих, чтобы по ним заехали, допустим, обрезком трубы или куском застывшего цемента, – с жиденькой, неуверенной улыбкой, готовой перейти в униженную: знаю, мол, знаю свое место!.. Он, плакатный, знает свое место: оно сзади, в дверях, у порога, – и одна ненарисованная нога уже нашаривает ступеньку вниз, обратный ход, путь к отступлению; это то место, куда швыряют, так уж и быть, обноски, обрезки, объедки, опивки, окурки, очистки, ошметки, обмылки, обмусолки, очитки, овидки, ослышки и обмыслевки. Что, дескать, встал!.. Я тебя!.. Ах, не нра-вится?! Не лю-юбишь?! А вот тебе, вот тебе, вот тебе! Взы его!.. п-пахло... Так и норовит цапнуть... Ощерился, вишь, – не нравится ему... А ну вали отсюда! с-скотина... Гнать, гнать взашей, эй, мужики, навались, вломим ему!.. А-а, побежал! Беги, беги... Далекое убежишь... еще разговаривал тут, тля...

Недаром, недаром интеллигент изображается на официальных картинах – то бишь плакатах – сзади, изображается вторым и последним сортом, так же, между прочим, как на плакатах, взывающих к дружбе народов, вторым сортом идет негр – позади белого, чуть отступя. Мол, дружба дружбой, но ведь, товарищи, негр все-таки, понимать надо...

А посему интеллигент (Ленечка) и негр (Джуди) должны соединиться брачными узами, и этот союз униженных и оскорбленных, уязвленных и отверженных, этот минус, помноженный на минус, даст плюс, – курчавый, пузатый, смуглый такой плюс; повезет – так сразу будет Пушкин, не повезет – еще раз ухнем, и еще раз ухнем, а то внуковждемся, правнуков, и, в гроб сходя, благословлю! – постановил Ленечка. «Дерзай», – вздохнул Спиридонов и ушел, унося юбилейный подстаканник, на котором три серебряных спутника облетали земную горошину с одной-единственной страной на выпуклом боку.

Ленечка стал дерзать.

Момент для этого был самый, надо сказать, туманный, так как именно в это время выяснилось, что Джуди, или как там ее на самом деле звали, остается без гражданского статуса, то есть начисто безо всякого статуса, – на месте ее африканской родины открывается театр военных действий, одна страна ее не признает, другая выпихивает, третья приглашает интернировать на неопределенное время, а наша исключительно сожалеет, разводит руками, причесывается, продувает расческу, любезно улыбается и рассеянно смотрит в окно, но решительно ничего утешительного на данный туманный момент предложить не может. Не бьет, и то спасибо.

Тетя Зина, Ленечкина тетка, не подозревая еще, какую свинью ей и ее благополучию собираются подложить племянник, говорила Джуди: «Доча, держись. Всем трудно», но дядя Женя, ее муж, находившийся, между прочим, на взлете своей дипломатической карьеры и ждавший – так уж получилось – назначения в противоположный Джудиному угол африканского континента, не одобрял контактов с иностранной подданной, хотя бы и бездомной, и по мере приближения часа окончательного оформления своих документов все острее и бди-

тельнее следил за собой, чтобы не сделать ложного шага в том или ином направлении. Так, он запретил тете Зине подписаться на «Новый мир», памятуя о его недавней, еще не прошедшей ядовитости, вымарал из записной книжки всех знакомых с подозрительными окончаниями фамилий и даже, поколебавшись, какого-то Нурмухаммедова (о чем позже горько жалел и, мучая глаза, рассматривал листок на свет, чтобы восстановить номер телефона, так как это оказался всего лишь жулик по ремонту автомобилей) и в последнюю, кризисную неделю даже побил и спустил в мусоропровод все импортные консервы, вплоть до болгарского яблочного джема, и уже покушался на республиканские продукты, но свекольный хрен тетя Зина отстояла своим телом.

И вот вам, пожалуйста, – в тот самый момент, когда он довел себя до неслыханной, невероятной, нечеловеческой идейной чистоты, когда он почти уже светился, как хорошая, спелая хурма, – все косточки просвечивают и ни единого пятнышка, как ты его ни верти, не найдешь, – нет, нет, нет, не участвовал, не привлекался, не имею, не состоял, не намеревался, не произносил, не встречался, никогда не думал о, в жизни не слышал, в голове не держал, не имел ни малейшего представления, и ни днем, ни ночью не имел покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет, – вот в этот самый момент мальчишка, сопляк, племянник, а выражаясь научно – близкий родственник, марает, понимаете ли, его репутацию, по сравнению с коей отшельники горы Афон – просто хулиганы, пишущие в лифтах неприличные слова, псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители!

Так вот, дядя Женя устроил пронзительный визг и биение об пол, так как из-за Ленечкиных матримониальных устремлений его карьера повисла на волоске, а он уже мысленно съездил, отслужил и вернулся, и привез кучу добра: и настенные маски, и коврики, и торшер с начесом, не говоря уже о вещах крупногабаритных; он уже предвидел, как будущие, через пять-шесть лет имеющие возникнуть гости, перейдя из сапог в тапки, обойдут по периметру гостиную, с виду беспристрастные, а в душе раздираемые завистью; как он разрядит атмосферу вечера шутками: достанет из пакетика и будет бросать об стену резинового гонконгского паука, чтобы тот, цепляясь и обрываясь, и снова цепляясь, мерзко сползал по стене под счастливые крики и испуг дам; как они будут пить чай из синей банки, где на крышке пляшет такая цыпа в шальварах – в ноздре брильянт, а в глазах, знаете, эдакое – ложная такая невинность; индийский будут пить они чай, а кое-кто, невелик пан, перебьется и грузинским, – короче, дядя Женя предполагал жить роскошно, жить вечно, но Бог судил иначе, и скажу уж, забегая вперед, что когда он, после нескольких блистательных месяцев своей состоявшейся-таки африканской карьеры, посетил национальный заповедник, где дразнил палкой павиана, – то зазевался и был разорван в мельчайшие клочки каким-то проходившим мимо ихним животным. Словно предчувствуя что-то, словно томясь, он все же успел до своей кончины выслать в подарок Ленечке вышеупомянутого липкого паука, но посылка шла так долго, что по прибытии паук оказался просроченным и сползать не хотел, а просто шмякался; так долго, что уже и газеты, обещавшие, что светлая память о дяде Жене навсегда останется в наших сердцах, были сданы в макулатуру, чтобы обернуться, в вечном круговороте превращения материи, обоями по восемьдесят копеек, очередь за которыми длинна и печальна, словно насмешка над нашими чаяниями.

Но все это было позже, а в тот момент дядя Женя был еще живым и счастливым мужчиной: и жена у него была какая надо – дочь военнослужащего, и плитка в сортире салатова, чешская, и на стене – для благонадежности – висела балалайка. Так что визг его был вполне закономерен и оправдан.

Он навизжал – на правах младшего, но преуспевшего брата – на Ленечкиного отца, указав ему на черт знает какое воспитание, данное детям: Ленечке, оскандалившемуся в кулуарах печати, – а ведь мог, щенок, вырасти в крепкого, спортивно-международного жур-

налиста, если бы слушался дядю; Светлане, Ленечкиной сестре, девушке распушенной, склонной шляться по кафе и кататься на машинах неизвестно с кем; заодно попало и младшему, Васильку, ученику пятого класса, решительно ни в чем не повинному и даже только что занявшему второе место на городской олимпиаде по санкам. Он навизжал на жену, тетю Зину, обвинив в попустительстве, ротозействе, потакании и в том, что муж ее двоюродной тети некогда собирался устроиться на работу в КБ, а между тем дедушка одного из бывших сотрудников этого КБ жил по соседству с мужиком, владевшим в 1909 году двумя коровами; а это может быть расценено как заведомо опасная близость к кулацким кругам; навизжал на кота, с приближением марта все чаще поглядывавшего за окно, на дворника, на торговку редиской в подворотне, на лифтершу, на сторожа кооперативной автостоянки, на начальника ЖЭКа и даже на хомяка, жившего в клетке на кухне, причем хомяк, выслушав дядю Женю, тут же умер.

Как бы то ни было, визг дяди Жени был страшен, как страшен, должно быть, визг падающего, соскальзывающего в пропасть и держащегося только за пучки травы человека: податливая сухая почва пылит и крошится, и вздуваются, выходя из земляных гнезд, корни, – близко, близко у глаз; и уже выбежал из своего домика встревоженный паучок или муравей, – он-то останется, а ты-то полетишь, расцветая на короткий миг птицей, полотенцем, еще теплой и живой рогулькой, спеленутой собственным криком; ноги уже царапают пустой воздух, и мир готов, кружась и поворачиваясь, подставить тебе свою пышную, зеленую, грубую чашу.

И было мне его жаль, как всегда бывает жаль раздавленных, разбитых в кровь, прибившихся без глаз.

Между тем Ленечка, приказав Васильку приступить к выпиливанию лобзиком полочки, на которую он поставит сочинения будущего Пушкина, вплотную занялся образованием Джуди и обращением ее в свою поэтическую веру. Ни к себе домой, ни, естественно, к дяде он ее привести не мог, и моя коммунальная кухня, оживляемая инвалидом Спиридоновым, оглашалась безумными Ленечкиными текстами, протестами и тостами.

«Ну что ты хочешь? Говори! все сделаю!» – разбрасывал Ленечка стандартные любовные посулы, напившись чаю с пряниками инвалида.

Джуди смущалась. Она хочет скорее стать ветеринаром... Она хочет приносить пользу и лечить зверюшек... Коров, лошадей... – Милая, это не называется: зверюшки, это крупный рогатый скот!.. – Лошади – не рогатый... – Напрасно так думают! Напрасно! – кипел Ленечка. – Рога у лошадей были, но отпали в процессе эволюции, когда лошадь слезла с деревьев, повинувшись общественной потребности, и вышла в поле, к мужику, где рога только мешали. А у вас в Африке есть коровы и лошади? А они впадают в зимнюю спячку? – веселился поэт. И объяснял Джуди, что корова, сдав все дела и распорядившись насчет теленка, уходит в лес, роет ямку и, уютно устроившись, свернувшись калачиком, спит до весны, заматаемая снегом, с нежной улыбкой, сомкнув прелестные свои очи, воспетые в нашем и не нашем эпосе, и снятся ей быстрые ручьи да зеленые луга в россыпях ромашек, – а охотники, построившись цепью, уже идут на зимний промысел с фонарями и красными флажками, и шарят граблями по сугробам, и подымают спящую ухватами, – вот почему мясо у нас только мороженое, это ж вам не зебу.

А вот сойдут снега, Джуди, дорогая, поедем за город, в густые леса и широкие поля, – ели темные, пни огромные, – увидишь нашу северную фауну: кудрявых шелковых соловьев с голубыми очами, белорунных овец о серебряных копытцах, что поют чудные песни с припевами над бегущими водами, а какие у нас коты в кафтанах рытого бархата с медными пуговицами, а какие козлы – знала бы ты – политически грамотные, опрятные, с твердой гражданской позицией, в стальных очках! А наши пауки, а мухи – веселые, в красных сапожках, с пряниками под мышкой, – скажи, Спиридонов! Выше голову, Спиридонов, пьем за паука!

Нельзя сказать, чтобы мне очень уж нравился этот ежевечерний шабаш, эта колготня и чаепитие на моей небольшой территории, – у меня были свои планы на жизнь и кое-какие мечты: выйти замуж, перевезти к себе маму из Фрязина или поменяться на однокомнатную квартиру; все это, правда, как-то, едва наметившись, путалось и разваливалось, и не то чтобы не было мужей или вариантов обмена, – все было, но какое-то завалищенькое, убогое, пятого сорта, с изъянами и кавернами, флюсами и перекосами.

Нельзя же было всерьез отнестись, например, к жениху Валерию: крепкий, высокий, очень себя за это уважавший, с лицом милиционера или ответственного работника, Валерий ел много мяса, держал дома гири, эспандеры, велосипед, лыжи и еще какие-то необязательные спортивные загогулины; его мечтой было купить синий пиджак с металлическими пуговицами, но тот не давался ни за какие деньги. Без пиджака Валерий чувствовал себя выпавшим из жизненных пазов. Как-то осенью мы шли с ним по ветреной набережной Яузы, был оранжевый холодный вечер, летели последние листья, в небе зажглась чистая звезда и повеяло близкой зимой, тоской, новым, бессмысленным, неотвратимо приближавшимся годом; ветер поднял и бросил в нас городскую, подмерзающую пыль. Валерий остановился и зарыдал. Я постояла, переживая, разглядывая небо и звезду в пустоте; я понимала, что слова – ничто, что утешения не надо, понимала, что это – горе, крах, крушение: синий пиджак выходил из моды, проплыв мимо Валерия; розовым утренним облачком, мимолётным видением, журавлями, ангелом в лунной вышине уплывал пиджак, – поманил, растревожил, смутил душу, вошел в сны и прошел, как прошли, отшумев и отблестав, роскошные, пестрые и пряные царства Востока. Отплакав, Валерий утер красной рукой свое негибкое комсомольское лицо, и мы пошли дальше, притихшие и печальные, и расстались у овощного магазина на углу, с тем чтобы больше никогда не встретиться.

Не годился в женихи и Гарик, духовный человек. Не то чтобы меня смущали постоянные обыски в его конуре: государство все нападало на Гарика, отбирая его духовные бумажки и картинки, отнимая любимые книжки, а иногда забирая и самого Гарика; не то чтобы меня пугали шестеро его детей от предыдущей жены, – Гарик был добрый, любящий, милый и на редкость изворотливый юноша: и детей кормил, и бумажки как-то быстренько, неумолимо хлопоча, восстанавливал, – а вот что-то скучно мне было: послушать его – все «вертоград» да «вертоград», да пути, да искания, да благодать, да все сладчайшее да нерукотворное, а жизнь идет – плохая, но единственная, а в конуре у него хлам, тряпье, пыль, и бутылки с клеем на подоконнике, и постная кашка в подгорелой кастрюльке, и рубище на шатком гвоздике... и неужели же этот, вот этот мир, тщедушный и безобразный, и был обещан и нашептан, возвещен и предчувствован, когда все начиналось, когда раскрывались невидимые ворота и звучал неслышимый гонг?

По правде сказать, хотелось любви, да она и была, потому что любовь есть всегда, вот тут, в тебе, только не знаешь, с кем ее разделить, кому поручить нести чудесную, тяжелую ношу, – тот слабоват, и этот скоро устанет, и вон те, – бежать от них прочь, пока тебя не расхватили, как пирожки с повидлом у «Детского мира», бросая пяточок и заворачивая свою добычу в промасленную бумажку.

Да, хотелось чего-то такого – тяжелее Валериевых гирь и легче доморощенных крылышек Гарика, хотелось уехать или уйти, или долго, долго говорить, а может быть, слушать, и воображался кто-то неясный: спутник, друг, прохожий, и мерещился путь: ночная тропа, запах прели, капли с мокрых кустов, смех в темноте, и огонь впереди: деревянный дом, и вымытый пол, и книга, в которой про все написано, и всю ночь, до утра – шум высоких, невидимых деревьев.

И еще... но неважно. Была реальность: кухня, крики, седая щетина Спиридонова, ныряющая в стакан с чаем, теснота и эти двое, эта противоестественная парочка с далеко

идущими планами. Форточку мы плотно закрывали, чтобы не слышать далекий, острый как игла, нескончаемый и мучительный крик дяди Жени.

– Вот что, старуха, – намекал Ленечка, – если тебе дороги судьбы российской словесности, отчего бы тебе не вынести раскладушку на кухню?

Я не хотела ни спать на кухне, ни «пойти погулять», ни уехать на недельку во Фрязино, и Спиридонов тоже не хотел, но Ленечка ругался, боролся и поносил нас, – как приватно, в рабочем порядке, так и в стихах, для вечности, – и покупал нам со Спиридоновым билеты в кино на двухсерийные фильмы с киножурналами.

Уже шумела весна – холодная, ночная; уже гудел ветер в деревьях, и в ветре летела вода, и птицы, каркая, сбивались в клубки над сквозными деревьями, над проржавевшими куполами; чистые лужицы дрожали, отражая огни пельменных, рюмочных, чебуречных, и в воздухе дышали, летели, бежали тревога, жизнь, желания – общие, невостребованные, ничьи, – а я брела под руку с угрюмым, волочившим ногу инвалидом Спиридоновым по кривым переулкам, под московской, мусульманской луной, и нога его, зашнурованная в ботинок за четырнадцать рублей тридцать копеек, чертила по Москве длинную, извилистую линию, словно вспахивая бесплодный городской асфальт, словно готовя борозду под неизвестные индустриальные семена. А потом в кинозале, в подмокших пальто, нахохлившись, исподлобья смотрели – я и инвалид – на какой-то мелькающий прокатный стан, болванки, корявых героев труда, раскаленные брусы железа, трактора, свиной-рекордсменок, на плешивых, хорошо покушавших людей в шевиотовых костюмах, растирающих в пальцах колоски, на поток льющегося на нас идеологически выдержанного зерна, – смотрели, покорно ожидая, пока где-то там, из факта дружбы бездомных народов не завяжется незаконный младенец Пушкин как последняя наша надежда.

К лету Пушкина все еще не было, а жизнь моя стала совершенно невыносимой: международные любовники устроились в моей комнате как у себя дома, ели лапшу из кастрюльки, играли на зурне, ходили голыми и даже пытались разводиться на полу костер в каком-то железном кулке; Ленечка купил Джуди для научного развлечения белых мышей и белого же, мужского пола, кота; будучи убежденным пацифистом, Ленечка навязывал коту свои взгляды: разработал систему просветительных лекций и проводил практические семинары по воздержанию от мышеедения.

С деньгами у Ганнибалов было всегда плохо: Ленечка устроился было на полставки в женский календарь как обозреватель рецептов национальных кухонь. Но правдолюбие и здесь сослужило ему дурную службу, так как в календаре не хотели низких истин, критиканства и разоблачений, не хотели рецепт майского салата начинать словами: «Будем откровенны: жрать нечего», не хотели посланий и проповедей вроде: «Если рыночный помидор тебе по средствам, остановись и спроси себя: так ли ты жила? Где согрешила? Когда оступилась, свернув с узкой стези добродетели на торную дорогу соблазна?..» – и его опять выгнали, и он опять гордился и негодовал, и немедленно завел себе пару друзей, а вернее, учеников и последователей, – бородатых, в помятой одежде, увешанных крестиками и бубенчиками, с блуждающими улыбками и отрешенными коровьими взорами, и, пригласив их к себе, а вернее, ко мне, читал им назидания, учил выбирать неложные пути и предьявлял в качестве наглядного примера кота, который, испытав силу Правдивого Слова, стал уже совершеннейшим буддистом и трансцендировал все земное и преходящее, а также пробегающее.

Теплое лето, опустевший воскресный город – я уходила слоняться по переулкам, выбирая старые, глухие углы, где пахнет пивом, пролитым в пыль, дешевой штукатуркой, досками строительных заборов, где из стен домов торчит дранка, а одуванчики – топчи их, не топчи – невинно и тупо пробиваются у подножий сараев и храмов со времен Ивана Калиты. Тяжкий блеск церковного купола вдали, немолчный и бессмысленный шелест листьев, уже

потускневших, бегучие пятаки солнечных пятен, вонь и ветошь вокруг гаражей, трава в тени лип и земляные плешки во дворах, на площадках, где сушат белье – тут прожить, тут и умереть, так никого и не встретив, никому ничего не сказав.

Может быть, и был один человек в другом городе... но неважно, какая разница, если ничего из этого не вышло, и сейчас, после стольких лет, я одна выпью рюмку рябиновой наливки за помин Джудиной души и долго буду смотреть в пламя свечи, и ничего в нем не увижу, кроме сияющего лепестка с белой сердцевинкой, кроме пустоты, горящей в пустоте?

Прощай, Джуди, скажу я ей, не ты одна пропала ни за грош, пропадаю и я, все звери моей породы разбежались кто куда – ушли за зеленые летейские воды, за стеклянную стену океана – он не раздвинется, чтобы дать проход; кто зазевался – подстрелен, охотники славно поохотились, усы их в крови, и к зубам прилипли свежие перья; а те, что прыснули во все стороны в отчаянной жажде выжить, – поспешно переоделись в чужие шкуры: прилаживали рога и хвосты у осколков зеркал, натягивали перчатки с когтями, и теперь уже не отодирать бутафорскую, мертвую шерсть. Я встречаю их иногда, и мы смотрим друг на друга мутно, как из-под воды, и надо, наверно, что-то говорить, а говорить бессмысленно, как тогда, когда уезжаешь, а тот, другой, провожает, и ты стоишь в вагоне, за двойным невымытым стеклом, а тот, другой, – на перроне, в порывах ночного дождя, и вы оба напряженно улыбаетесь: все слова сказаны, а уйти нельзя, и киваешь головой, и чертишь пальцем на ладони волну: «пиши», и тот, другой, тоже кивает: понял, понял, напишу, – но он не напишет, и вы оба это знаете, а поезд все стоит, все не трогается с места, все никак не начнутся толчки, белье, рубли, долгий говор соседей, темный приторный чай, промасленная бумага, тусклый промельк фонарей на пустом полустанке, бисерное, вспыхивающее золото дождевого пунктира на стекле, косой и грешный взгляд солдата, качающаяся теснота коридора и срамной холод сортира, где грохот колес сильней и оскорбительней, и из полумрака близко и нелестно смотрит на тебя твое собственное отражение – унижение – поражение... – все это впереди; а поезд все стоит и не трогается, и твоя улыбка натянута и готова сползти, оплыть слезою, и в ожидании толчка, конца, последнего взмаха ты шевелишь ртом, шепча бессмысленные слова: восемьдесят семь, семьдесят восемь; семьдесят восемь, восемьдесят семь, – и по ту сторону глухоты тот, другой, тоже шевелится и с облегчением лжет: «обязательно».

Тут как раз Спиридонов, испортивший зубы дешевыми сушками и сокрушительным ежевечерним кипятком, вынужден был заказать себе новые коронки. Рассеянный инвалид полагал, что ставит золотые, однако его прямо во рту обворовали на приличную, как выяснилось позже, сумму. Впрочем, разнообразие металлов в его пожилом рту создало редкий, но чудесный эффект: Спиридонов стал сам, безо всяких дополнительных приборов, принимать радиопередачи. Из него плыли тихие танго, далекие иностранные голоса, молитвы, вопили футбольные матчи, бушевавшие неведомо где; работал он обычно на коротких волнах и включался к вечеру. В ранние часы он передавал какую-то дребедень – «Вам, пытливые» или же концерт по заявкам механизаторов, но чем больше сгущалась тьма, тем таинственнее бормотал и смеялся мир, и огни вырывались из мрака, и какие-то цветные фонари, и барабаны... и где-то бежала вода, вся в огнях – что это за вода, и что это за огни, и о чем говорят барабаны, – откуда нам знать!.. А в полночь инвалид вещал, кажется, по-португальски. А может быть, и не по-португальски, откуда нам знать! Ах, какой это был прекрасный язык! Плоский тугой океан мерно бил в берег длинной, как хлыст, волною, пестрые паруса входили в гавани, и каменные ступени спускались к воде, и пахло ракушками и вареным рисом, и суровые женщины громко пели под красными крышами о цветах, об убийцах, о кораблях, груженных мочалом и лаковыми коробочками, птицами и бусами, лиловым шелком и душистым перцем. А может быть, все там было совсем не так, – откуда нам знать, если мы этого не видели и никогда, никогда, никогда не увидим, – никогда, до самой смерти, до скрипа дешевого крашеного гроба из сырого горбыля, спускаемого на волоса-

том вервие толчками, рывками, последними земными аршинами в осенний супесок, суглинок, краснозём!.. – до последней астры, царского цветка, вдавленного в ноябрьскую землю, с головкой, откушенной каблуком сизого, торопливого могильщика! «Никогда, никогда», – пел Спиридонов; «никогда», – плакала я, «никогда», – кричал Ленечка, – время встало, пространство высохло, люди попрятались по щелям, купола проржавели и заборы оплетены белым вьюнком, крикнешь – не слышно, взглянешь – не поднять сонных век, пыль стоит до облака, и могила Пушкина заросла густой лебедою! – кричал Ленечка. Над густою лебедою гуси-лебеди летят! То как зверь они завоюют, то ногами застучат! Гуси-лебеди с усами, – страшно девице одной; это ты, Иван Сусанин? Проводи меня, родной! Нашим планам нет предела, всем народом рвемся ввысь, и в распухнувшее тело раки черные впились! Едут греки через реки, через синие моря; все варяги едут в греки, ничего не говоря. Холодок бежит за ворот, пасть разинул соловей: не сдастся лютый ворог милой родине моей. Соловей хрипит на ветке, гнется дерево под ним; «кукареку», – вопит в клетке шестикрылый серафим; птичка Божия не знает ни пощады, ни стыда: сердце с мясом вырывает и сжирает без следа. А струна звенит в тумане, а дорога всё пылит... Если жизнь тебя обманет, – значит, родина велит.

Но Спиридонов, глухой к Ленечкиной упадочнической поэзии, мечтал о своем, и планы его были грандиозны: какие-то антенны, усилители, мотки проволоки, радиолампы, цветомузыка, – да что цветомузыка, он уже собирался озвучивать воображаемые танцплощадки и стадионы, он уже размышлял о телевизионном изображении, о фестивалях, кроссах дружбы, вручении олимпийских медалей, установке поздравительных статуй на родине – в мраморе по шею, в бронзе по титьки, в граните, с мечом в руках, в пятиэтажный рост; он уже срывал горы и прорубал туннели, перегораживал плотинами реки и перекраивал республики, он уже выходил в открытый космос и оттуда, сверкая фиксами и вращая телескопическими глазами, огромный, как Кинг-Конг, сбивал баллистические ракеты и устанавливал вечный мир во всем мире. А Пушкина все не было.

Тут в квартиру наведальсь бдительные товарищи из домоуправления, возглавляемые стариком Душкиным, который, если поскользнулся на улице или если прокисала сметана, иначе как в Политбюро не писал. Товарищи хотели знать: зачем шум и музыка и почему ночью свет? Документики попрошу. Спиридонов взял вину на себя: он изобретатель, работает по ночам, звуки зурны и барабана его стимулируют. Вынес он и показал также свою почетную грамоту за 8-й класс 415-й мужской школы Красногвардейского района, публикацию в «Науке и жизни»: «Сделайте из старых зубных щеток удобную новую швабру» и музейную вещицу: текст работы Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин», выполненный инкрустацией из рыбьих костей по моржовому бивню неизвестным народным умельцем. Но если нельзя, сказал Спиридонов, то он больше не будет, а документы в порядке, правила проживания нам известны. Мы, слава богу, не маленькие, знаем, что все запрещено: стоять ночью на обочине МКАД, работать без упора, дергать без надобности, заслонять кабину шофера, получать более 600 граммов в одни руки, нарушать целостность упаковки, принести и распивать, ставить вещи на поручни, торговать с рук, открывать до полной остановки, выгуливать без намордника, провозить зловонное, ядовитое и длинномерное, разговаривать дольше трех минут, спускаться и ходить по путям, высовываться, влезать, фотографировать, оказывать сопротивление, квакать, свистеть, трижды кричать на заре василиском и производить распиловку дров после 23 часов вечера по местному времени.

С товарищами из домоуправления лучше было не шутить; я выгнала Ленечкиных учеников, белый кот ушел сам, подговорив мышей странствовать вместе, – кстати, к осени эту компанию видели в верховьях Волги: кот шел, опираясь на посох, в венке из незабудок, отрешенный; мыши, шесть штук, бежали следом, неся мелкие пожитки, соль и спички, – боюсь, что они зажигали костры в неположенных местах, а мы за них отвечаем; и вдобавок дядя

Женя, – уже прибывший к месту назначения, уже прошедшийся неспешно по казенным комнатам своего нового жилья, уже подергавший, проверяя на крепость, окна, двери, замки, жалюзи, уже распаковавший чемоданы с галстуками в полосочку, галстуками в клеточку, галстуками в павлиний глаз, уже объяснивший тете Зине, как пользоваться кондиционером («Жень! А, Жень! Чего-то я тут... Чего-то не пойму!»), – дядя Женя ни на минуту не утратил бдительности и послал Ленечке письмо диппочтой – копию Ленечкиным родителям, – предупреждающее, чтобы тот прекратил сам знает что и не вздумал это самое; что кое-кто предупрежден и проследит со всей строгостью, ибо на то уполномочен; а если Ленечка не перестанет кое-что, то дядя Женя даст знать кое-куда и тогда будет ай-яй-яй. И пусть Ленечка не думает, что если дядя Женя кое-где, то ему хоть бы хны. Нет, все очень серьезно, потому что – сам понимаешь, а тем более сейчас, когда... – вот именно. Так-то.

Бедный дядя Женя, он писал, задумывался, подбирал оттенки смысла, а смерть его уже вышла из дальних лесов и, принохиваясь, побежала на мягких лапах, играя мышцами, ему навстречу. Дядя Женя дописал, выпил доступного кофе и глянул в пустую чашку, – и вся кофейная гуща мира, все ромашки, все линии на ладонях, и рисунок дальних звезд, и колоды карт с насупленными королями и самонадеянными валетами уже сложились в простой гробовой узор, доверчиво открывая дяде Жене его близкую судьбу, но он не прочел ее, ибо это знание не было ему дано. И дядя Женя заклеил конверт и задумался о фруктах будущих лет, о морском купании, о шинах для нового автомобиля, о бумагах отчетов и петлях интриг, – сладко-сладко задумался о вещах, которые, конечно же, случились, но не имели к нему уже ни малейшего отношения. Странно думать, что он умер почти в одно время с Джуди и, пронзая метафизические выси, столкнулся с ней, быть может, в сером свете потусторонних светил, не узнав.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.